

А Л А Н

Ч Е Р Ч Е С О В

Р О М А Н

В Е Н О К

Н А

М О Г И Л У

В Е Т Р А

Алан Черчесов

Венок на могилу ветра. Роман

«Издательские решения»

Черчесов А.

Венок на могилу ветра. Роман / А. Черчесов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-937736-4

«Венок на могилу ветра» — вторая часть осетинской дилогии Алана Черчесова, отмеченная малой премией Академии русской современной словесности и финалом Русского Букера. Каждый найдет в этой многослойной книге свое: здесь и преступления, и любовь, и жизнь отщепенцев в диких горах, но вместе с тем — и глубокое раздумье о природе человека, о силе страсти и чуде жизни. Мастерская, остросовременная, интеллектуальная и экзистенциальная проза пронизана неповторимым ритмом и соткана из плоти и крови.

ISBN 978-5-44-937736-4

© Черчесов А.
© Издательские решения

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
I	6
II	9
III	11
IV	14
V	16
VI	18
VII	20
VIII	23
IX	26
X	31
XI	34
XII	35
XIII	39
XIV	44
XV	47
XVI	51
XVII	55
XVIII	61
XIX	70
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	72
I	72
II	74
III	77
IV	81
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Венок на могилу ветра

Роман

Алан Черчесов

Художник Ахсар Есенов

© Алан Черчесов, 2018

ISBN 978-5-4493-7736-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Памяти папы

Пройдет два века, прежде чем река сменит русло. Двести лет на то, чтобы время очнулось, вспомнило, простило, вернулось и свершило в спешке то, чему противилась пустота двести полых лет, лишенных времени. И тогда уже дело будет за рекой. В несколько дней она сметет одряхлевшие камни прошлого, оставив лишь самую малость их посреди своего гибкого тела, будто жалкий лоскут, прикрывший срам уничтоженья. Она оставит еще шесть хмурых пятен, тоже каменных, все так же набитых костями, как до того линиявшая от ветра пустота, забытая временем и снесенная теперь сильной водой. Шесть склепов памяти, уцелевшей в пустоте и безвременьи.

Но понадобится еще сотня лет (и новый грех), пока время не вспомнит о жизни. И тогда та примчится сюда на взмыленных конях, под вечер, прячась от погони и жажды, и, утолив ее (жажду. Но не саму погони), заночует здесь под сытым звездами небом. А потом, всего в два года, жизнь прибавит еще одинокого путника, юношу, сбежавшего от себя, двух сестер и обоз чужаков, чтобы выстроить здесь пять домов, мост и даже мельницу, и за восемь лет несколько раз родит, прежде чем впервые споткнется смертью. И тогда за рекой, в другой стороне от склепов, выроет двумя руками первую могилу и посеет в ней первое зерно новой памяти...

В тот длинный день что-то изменится в воздухе, отворится бедой и почти тут же замкнется призраком круга, о котором они старались не думать целые восемь лет, доверившись реке и примеру ее течения – оглушительной силе воды, разорвавшей оковы веков и отвергнувшей участь убийцы, потому что отказалась их отравить вопреки всем преданиям и легендам. Река была потоком, натиском, бунтовщиком, простором, вытянутым в линию судьбы, чертой на длани, обещанием и дорогой. Ей было дано лишь начало; она сама творила свою протяженность и по собственной воле рвалась к своей неизбежности, без оглядки на то, что, быть может, найдет в ней только расплату за непослушание или кару за шальной восторг отречения. Река была надеждой и прощением. Она сама была истоком.

Прежде чем к нему припасть, каждому из них предстояло отпрянуть от русла своего прошлого.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Поначалу их было трое. И лишь четвертый выбирал. Стоя на припорошенной снегом вершине, увидев в низине слабый сизый дымок и крохотные точки, он вдруг понял, что не удивился. Был полдень. Солнце густо заливало его последней осенней прозрачностью, отгоняя туман вниз по течению, так что обмануться он не мог. Он видел их костер и стены, и двух коней у Проклятой реки, но все ж не удивился, будто забыв и вспомнив разом давнее свое ожидание, о котором сам не подозревал, однако, чтобы с ним встретиться, трижды сюда поднялся, а чтобы признать его и вернуться к нему насовсем, проделал это вновь, но уже с конем, парой выюков и собственным именем, переставшим служить ему без малого тридцать лет назад, но теперь вот воскрешенным опять из долгого одиночества, которое глядело на них из больной бездны его глаз и не позволило им ему отказать, когда он подъехал месяц спустя к их хадзару¹, остановился у сиротливых кольев без плетня, отшвырнул поводья, спрыгнул с коня, двинулся на выставленные ружья и, чуть поведя перед грудью рукой, заставил ружья устыдиться и поникнуть, а потом едва кивнул головой и сказал:

– Да будет небо вам в помощь.

И, когда они ответили, добавил:

– Раньше чем гостем сделаться, хочу разузнать про соседа...

И было это снова против правил, только перечить они не рискнули – нутра не хватило. И тогда он спросил напрямик:

– Кто меньше вам в радость – вечный гость или тихий сосед?

Они помолчали, озадаченные эдакой дерзостью, переглянулись, посмотрели на ружья, а после один из них, поведя лопатками, внятно произнес:

– Бывает кое-что еще. Порой бывает, что нет ни гостя пригожего, ни соседа, а есть разве что путник, неприкаянный, словно бродяга...

– Ага, – согласился тот. – Только ведь путник сам себе привал выбирает. Да и не всякий путник – бродяга. Как и не всякий похитивший – вор.

Тут они поняли, что он знает. А тот из них, на кого он глядел, вздрогнул, потемнел лицом и снова повел лопатками, словно хотел отряхнуться. И тогда женщина, украдкой наблюдавшая из дома, встрепенулась и приникла щекой к стене, закрыв глаза и подумав: «Он не из наших. Слава богам, у него чужое лицо...» Потом она тенью шмыгнула к очагу проверить огонь и внезапно, встревоженной слепотой внутри себя, услышала свою пустоту. Спустя минуту, уже скрывшись за пологом из вяленых шкур, женщина испуганно ждала, когда мужчины войдут в хадзар и тот, с кем вот уже шестой месяц она делила ложе, едва встретившись с нею взглядом, увидит, что она опять пуста, и притворится, что не понял.

– Может, кому и любо казаться бедовым, да только так и перестараться немудрено, – вмешался в разговор второй. – Тут уж ни гостем не быть, ни соседом. Дай Бог в путниках уцелеть.

Чужак усмехнулся, и им сделалось сразу неловко за прозвучавшую угрозу. По черной тяжести его взгляда они прочитали, что, если и есть на свете такая угроза, что может – не испугать его, нет, а хотя бы – не рассмешить и не оскорбить, ей все равно не сравниться с той, чьи следы, как дыханье усталости, принес он сюда в самом себе, в своих глазах, в бледном лице,

¹ *Хадзар* – жилой дом, а также помещение, в котором семья проводит большую часть своего времени – готовит пищу, обедает, отдыхает (*осет.*)

в голосе и руках, в холодном своем спокойствии, в весомости выпуклой тени, что свернулась пятном под их ногами и, словно печатью, уже метила эту землю, пахнущую сладким безвременьем и прибрежным илом бесноватой реки.

«Нет, – подумала женщина. – Шел он не к нам. Он не задержится здесь. Здесь ему нечего делать. Если, конечно, шел он куда-то еще, а не к склепам...»

Незнакомец медленно огляделся, пожал плечами и произнес:

– Дичь, ягоды да вода... На троих маловато.

Те двое разом посмотрели на коня и вьюки, привязанные к его хребту, а тот, кому принадлежала женщина, сглотнул слюну и спросил:

– Вроде как что предлагаешь?.. Вроде как право хочешь купить?

Чужак опять ухмыльнулся, не разжимая губ, и повторил:

– Право? На что оно мне! Ваших прав нам хватит с лихвой.

– С лихвой только смерть да похмелье приходят, – хмуро сказал второй и, сверкнув зубами, шагнул было вперед, но как-то вяло, нетвердо, так что первый его одернул:

– погоди. Дай высказаться человеку. Пока что он так ничего и не сподобился предложить, от чего бы мы смогли хотя бы отказаться.

– От его слов скулы сводит. А вовсе смолчать, как то гостю положено, теперь уж ему поздновато.

– Подождем, – сказал первый. – Из вежливости.

– Делим поровну, – сказал незнакомец. – Два мешка. Ну, как вам такое предложение?

Они переглянулись, и тот, чья женщина пряталась в хадзаре, притворился, что не понял взгляда приятеля, и, пока поводил лопатками и делал вид, что рассматривает ружье, убеждал себя: «Дело не в продаже. Рано или поздно это должно было случиться. Мы не продаем и не продаемся. Просто делимся с ним землей, а он взамен делится семенами. Только и всего. Все равно что столкновываться о взаимной услуге. Лучше уж так, чем...» Не додумав до конца, он сказал:

– Два мешка на четверых. Я правильно понял? По полмешка на каждого, считая... всех. Такое твое предложение?

– Если оно тебе по душе, – кивнул незнакомец.

И тогда тот, кто помладше, сказал:

– Надо бы и меня спросить. Как-никак, а я здесь тоже решаю. Или кто сомневается?

Его приятель нахмурился и подумал: «Все еще надобно убеждать себя в том, что он тоже мужчина. И убийство тому не помогло».

– Нет, – сказал он вслух. – Говори.

Друг перевел взгляд на чужака, встретился с ним глазами, задержался в них и начал багроветь скулами. Потом глухо, словно в себя, сказал:

– Пусть не считает, что это навсегда. Покамест пусть будет на время.

– Не гость и не сосед? – уточнил старший.

– Вроде совсем и не гость уже, но еще не сосед, – пояснил незнакомец. – Вот он о чем. Верно?

– Верно, – сказал младший. – Почти что никто.

Потом распорядился:

– Ружье оставишь у меня.

– Не пойдет, – сказал незнакомец. – С ним я не расставался с тех пор, как перестал быть мальчишкой. Случилось это лет на десять раньше, чем ты появился на свет.

– Хорошо, – сказал старший и, пресекая возражения, предостерегающе поднял руку. – Не гость, не сосед и не пленник. Это можно. Это правильно. И делишься пороховом.

Младший сердито потупился, развернулся на пятках и двинулся к дому.

– Тоской обиженный, – сказал незнакомец.

Старший вздрогнул, помешкал и исподлобья бросил на него угрюмый взгляд:

– С чего ты взял?

– С того, что друга ему недостаточно. Еще и враг нужен...

Чужак тихонько шелкнул языком, и конь послушно подошел, склонив голову. Сняв с седельной луки толстый хурджин, незнакомец молча протянул его старшему, и сквозь потертую кожу тот услышал пьянящий запах чурека и кислый сырнй дух. У него сладко засосало под ложечкой, но ни хурджина², ни бурдюка он в руки не принял:

– Негоже так.

Спорить чужак не стал, и они зашагали к дому. Навстречу им уже шел младший с охапкой сена в руках. Небо ухнуло громом, и в тот же миг незнакомец ступил на порог.

«Гроза в октябре, – успела подумать женщина. – Дурная примета...»

² *Хурджин* — переметная сума.

II

Ночь была прямой и звонкой, как внезапно оживший сон. Слушая дождь, он лежал на подстилке из летней травы и, не смыкая глаз, думал о том, что с ним уже было такое однажды, много лет назад, когда он вошел мальчишкой в пустые, скользкие стены, которые так и не смог по-настоящему согреть, хоть пламя от воскрешенного им очага тлело в них без малого тридцать лет. За это время он утратил все, что оправдывало беспримерность его одиночества – упрямство, веру, силы, умение побеждать, – не обретя при этом ни спасительного безразличия, ни душевной злобы, ни жажды мстить, ни даже права на покаяние – ничего, что позволяло бы ему остаться там, куда вернулся он к могилам предков тридцать лет назад и откуда позавчера вынес, наконец, вместе с дохлой очажной цепью опостылевшее всем одиночество. Он проиграл. Истощенный борьбой с напрасными поражениями, теперь он желал лишь покоя. Молчания и дождя, похожего на гаснущее эхо. Умиравшей памяти. Чтобы избавиться от нее, он должен был отречься от будущего (покуда жила память, никакого будущего, в сущности, быть не могло, потому что оно, будущее, было не чем иным, как верным приютом памяти, ее продолженьем и следствием, ее усталым рабом), распрощаться с прошлым и отправиться вспять, к тому, что было предтечей, забвеньем, заслоном для всякого прошлого, если оно, это прошлое, могло уместиться в память, боль или людские сроки. А потому пришел он туда, где прошлое было мертво, будущее – далеко и зыбко, а настоящее лишь начиналось – несмелым ростком греха, про который ему даже не нужно было спрашивать: мужчина, женщина и друг. И два коня. И неподвижность неба над головой, под которым пришлось сложить им стены хадзара, чтобы скрываться хоть на ночь от бледнеющих теней склепов, реки и глаз друга, стыдившегося самого себя (ведь помочь умыкнуть и бежать еще не значило стать мужчиной, еще не значило одолеть в себе юношу, а только и было, что свойством незрелости, из-за которой он перестал быть теперь просто другом, а сделался как бы третьим в доме для двоих, их младшим братом, угрюмым сторожем чужой судьбы). Но прежде им надобно было решиться – обосноваться здесь, у Проклятой реки, в долине склепов и беды, только б не попадаться на глаза тем, кто гнался за ними до перевала. Выходит, возмездие было страшнее, чем вековая пустыньность места, помеченного клеймом. И даже настолько страшнее, что за многие месяцы они никому не рискнули выдать тайны своего убежища, которое поначалу было лишь каменистой, но жирной от влаги землей, заросшей гигантской травой и кишасей ленивыми змеями. Они предпочли числиться в изгоях, нежели двинуться дальше (куда угодно, в любую сторону, кроме той, откуда бежали), навстречу людям, обычаям и словам, – только б не объяснять, не просить и не оставить следа, на который, пусть ненароком, могли набрести те, чью кровь они опозорили. Стало быть, случайности они опасались больше, чем гиблости места, потому что и к поздней осени у них все еще не было ничего, чтобы покорить хотя бы клочок сочной вязкой земли, обуздать языческую плоть ее и опустить в ее просторное лоно крошечное семя, почти невесомое зернышко, теплую искру, а по сути – зародыш нового времени, которое не могло начаться ни с костра, ни с вырубленной травы, ни с первой подстреленной птицы, ни даже с возведенных стен, потому что сама земля все так же дремала, погруженная в слепые сны, и нежилась в истоме своей неприкаянной девственности, по-прежнему необузданной, противоестественной и порочной, как порочна налившаяся молоком женская грудь, равнодушная к устам младенца.

Они не ушли, невзирая на то, что все говорило против такого решения: предание, склепы, гулкий воздух, легкий и чистый, как пустота; надвигающаяся сквозь него зима; заканчивающийся порох; дичавшие кони, топчущие по ночам крадущихся к жилищу змей и грызущие с тоски кожаный повод; дичавший слух, различающий в темноте несуществующие голоса; но главное – присутствие женщины и неизбежность того, что оно обещало. Они никуда

не ушли, а значит, им не хватило отчаяния – забыть про охотившуюся за ними расплату. Или отчаяние их было слишком велико, и оттого расплата казалась им неминуемой...

Дождь мягко шелестел по веткам крыши, дразня обманчивым уютом тишину, и незнакомец думал: «Что мне с того!.. Для меня уже все закончилось, и нет такой силы, которая могла бы то изменить. Пусть они не ушли, зато ушел я. Есть только дождь и ночь. И их достаточно».

В хадзаре пахло созревшим сеном, бессонницей и тревогой. Слышно было, как всхрапывает чурающаяся мрака кобыла, как она бьет по луже копытом и льнет к бокам хозяйского жеребца. Поймав отражение вспыхнувших углей из очага, масляной копотью блеснул толстый голыш в стене и сразу потух, черкнув желтой полоской по шербатой прохладе камней. Где-то за рекой почудился крик лесной птицы, захлебнувшейся порывом ветра, и тогда незнакомец закрыл глаза, потому что это уже могло быть похоже на сон – настоящий, густой осенний сон. Сегодня он отогнал видения без труда. При мысли об этом он усмехнулся, потом ровно и неспешно задышал, растворяясь дыханием в размеренном гуле реки.

Однако снилась ему не птица. Когда он снова открыл глаза, дождя уже не было. Остался лишь привкус спелой горечи на губах, какой бывает после того, как утолишь долгую жажду ледяным холодом родника. По тишине, уныло плывущей на прежней воздушной волне, еще не срезанной приливом предрассветной свежести, он понял, что спал совсем недолго. Быть может, несколько минут, но их хватило, чтобы исчезнуть из ночи и отыскать себя в мальчишке, пропавшем без вести десятилетия назад, и вспомнить синие искры брызг из ручейка, бегущего по снегу. «Я вернулся, – подумал он. – Теперь уж точно. Я вернулся к тому, от чего не уйти». Сердце билось громко и широко, словно от радости, хотя назвать радостью то, что он сейчас ощущал, было нельзя. Скорее, это было печалью, и у нее был свой свет, свое мерцанье, как у мечты, устремленной в былое...

III

Они стояли у самой вершины, он и старик. Тропа подступала к истоку узким расплывом, едва различимой петляющей вмятиной, и, споткнувшись о мокрые камни, тонула в сверкающих нитях упругого родника.

– Отсюда она начинается, – говорил старик, отступив на шаг и оперевшись руками о палку. – С ледниковой слезы. С простого ручья. Из него еще можно напиток. Попробуй.

А он, застывая сердцем от страха, просил:

– Сперва расскажи.

– Как хочешь, – соглашался старик. – Только ты уже слышал и знаешь. Не надо краснеть. Ты боишься легенды, а это не стыдно...

– Они тоже боялись?

– Пожалуй. Наверно. Но потом – уже нет. Страх ушел раньше, вместе с надеждой. Они строили склепы и ждали конца.

– Ты уверен, что это река?

Старик вздыхал, пожимая плечами:

– Так утверждает легенда. А с нею не спорят.

– Может быть, воздух?

– Нет. Только не воздух. Иначе б и мы тогда... Но мы уцелели. Выходит, их отравила река... Ветер ей не указ.

Ручей сбегал по искореженной вершине вниз, к обрубку скалы, потом терялся в ее изгибе и, вместо эха, растекаясь по зеву обрыва, окроплял потревоженный воздух легким радужным трепетом. Поплутав по ущелью и собрав его тающий сок, он врывался в долину безумным потоком, бурлящей рекой, похожей с горы на зеленую кровь стервенеющего чудовища. Однако рождалась она здесь, под хрупкой коркой нетвердого льда, с невинного прозрачного шепота, к которому еще можно было припасть губами, обманувшись животворной упругостью влаги. Было трудно поверить, что так же когда-то, с чистого плеска воды, начиналось убийство аула, уничтоженного прихотью сумасшедшей реки, а потом и вовсе сметенного ею – в закатное никуда.

– Но почему? Кто-нибудь знает ответ? – спросил он старика.

– Узнать такое нельзя, – ответил тот. – Это можно услышать. Не веришь? Пригни колени.

Он повиновался, но не услышал ничего, кроме запредельной тишины неба над раненой горой. Не отрываясь, он следил за парящим над гребнем бельмом, маравшим безупречную синеву, в которой даже солнце казалось случайностью, каплей, лишним желтым мазком. Облако задело за гребень, но не порвалось, а только сомкнулось вокруг него сухой, пресной прохладой, потом скользнуло дальше, на восток, на мгновение неровно оскалившись щелью, и он вздрогнул плечами, пораженный предчувствием.

– Я понял. Ему все равно, – сказал он. – Я правильно слышу?

– Все равно? – повторил старик. Седины в нем было больше, чем белизны в снегу.

– Да, – сказал он и поднялся с колен. – Оно лишь казнит. Я его ненавижу.

– Хочешь сказать – карает, – поправил старик и кивнул. – За ошибки и прегрешения.

– Ему все равно, – он упрямо стоял на своем, уже почти крича, раздосадованный нехваткой слов. – Сперва оно убивает, а все остальное – потом... Но ему все равно, оно никого не щадит!

– Погоди, – сказал дед. – Я знаю, о чем ты. Но тут ты неправ. Оно просто больше. Больше жизни и слов. Больше времени. Такое большое, что и смерти ему нипочем. Вот что ты слышишь...

– Я ненавижу его.

– В тебе говорят беда и обида. Ты слышишь другое. Раствори в нем беду.

Он не ответил, и старик отвернулся, чтоб ему не мешать. Упав на снег, мальчишка впился в кисть зубами, но, почувствовав, что это не помогло, поперхнулся стыдом и разрыдался в голос. Он плакал впервые за две недели, прошедшие с тех пор, как умерли его сестра и брат, родившиеся в один весенний день и в один же день, но уже июньский, похороненные под громадной могильной плитой, так и не успев понять, что были живы. Болезнь их длилась несколько часов, и к исходу суток все уже было кончено. Она оставила на лицах коричневые пятна, покрыв их губы волдырями, но умерли они не от них, а от удушья. Так говорили собравшиеся в дом старухи. Когда младенцев обмывали в деревянном жбане с холодной водой, он подглядел, как с чавкающим треском разгибают их прилипшие к щекам ручонки. Взыв от ужаса, он бросился вон из хадзара и был найден лишь к вечеру в соседском хлеве, куда вошел хозяин, чтобы задать буйволу корм. Мальчишка сидел у стены, обляпанный соломой и навозом, и в глазах его не было ни слезинки. Буйвол стоял в дальнем углу и словно сторонился его, как дикого опасного зверька. Спустя еще три дня мальчишка поднял на ноги весь дом, отбиваясь среди ночи от собственной тени и сильно обжегшись об очажную цепь, которую хотел сорвать, чтобы замотаться в нее, как в кольчугу. А к концу новой недели, к поминальной пятнице, вернулся его отец, уехавший в крепость вечером в день похорон, чтобы возвратиться обратно тогда, когда боль хоть немного смешается с памятью. Наутро отец повел его с собой на охоту, и мальчик впервые увидел, как тот расстрелял все патроны, не уцелив при этом даже высунувшегося из норы в пяти шагах от них рыжего хорька. Он посмотрел отцу в глаза, затянутые мутной пленкой влаги, но сам сдержался, проглотив свой плач и мучаясь потом отчаянной икотой, которую отец не замечал, занятый своими торопливыми руками и изнуряющим молчанием, похожим на нескончаемый стон.

За все это время дед не произнес и пары слов. Окаменев спиной и устами, он сидел во дворе, смежив лохматые брови и глядя пустыми зрачками вдаль, а вокруг матери, метавшейся в бреду, хлопотали афсин³ и невестки, ставя примочки на ее исцарапанное лицо, покрытое такими же бурными пятнами, от которых взрослые не умирают и не могут того себе простить. Потом солнце устало, поблекло бесцветной дымкой, спряталось тучами, и зарядил нудный дождь, пахнувший сладкой корой. Ее крутые завитки валялись вместе со стружками у забора, набухали желтой водой и отравляли ночь. Накинув бешмет и схватив стальной заступ, мальчишка выбежал под дождь и закопал их в жирной глине, обливаясь потом, но не слезами. Заровняв холмик, он обернулся и лишь тогда встретился взглядом со стариком, наблюдавшим за ним с порога. Дед опять ничего не сказал, а когда ночь прошла, позвал его и приказал собираться...

Теперь мальчишка знал, зачем они пришли сюда, к вершине, и поднялись по давно забытой всеми, призрачной тропе, заросшей травой, размытой годами, но все так же петляющей по живой памяти старика, не позволяя ему оступиться. Отрыдавшись до изнеможения, до резей в желудке, чувствуя слабость и порывистое кружение в голове, мальчишка склонился над ручьем и, уже без страха, напился из него и умыл отекавшее лицо. Затем откинулся на руки и, прикрыв глаза, слушал, как гладит его по щекам теплый солнечный луч. В груди его приятным копошением росло спокойное смирение. Злоба и дрожь в висках куда-то исчезли. Тоска не терзала, а тихо печалилась там, где только что жадно вздохнуло сердце. Он поднялся, отрянул одежду:

– Я готов.

Старик улыбался глазами и, казалось, смотрел на него из какого-то ясного далека.

– Вот и ладно, – кивнул он. – Пожалуй, я тоже готов.

Он не придал значения его словам, размышляя в тот миг о том, что уже не боится легенды. Смерть в ней была слишком гордой, слишком торжественной и опрятной, как эхо

³ *Афсин* – старшая в доме (*осет.*)

от песни, и ничуть не походила на ту, что уничтожила близнецов. «Наверно, это только сейчас, – догадался он и вдруг широко, по-собачьи, зевнул. – Для них-то, поди, иначе все было. И вместо коры со струганных на гробы досок было что-то другое, что им так же хотелось зарыть...»

IV

Дед говорил, зараза напала внезапно, как ураган. Русло тогда пролегало не здесь, а правее, и между лесом и берегом была каменистая светлая твердь. Там-то они и стали их строить. Сперва для того, чтобы хоронить в них умерших, не решаясь предавать кладбищенской земле изуродованные мором тела, потому как сами еще надеялись выжить и жать урожай – с того берега, где возвышался прежний погост. Но после те из них, кто раньше других надрылся душой, думая о совершенном, как о святотатстве, понимали, что отравлены тоже, и начинали слышать болезнь в себе. И тогда, закрывшись до самых глаз башлыками или укутавшись в платки, они отправлялись к мосту в свое последнее, короткое шагами, путешествие, и замуровывали себя заживо в узких стенах без единой двери, с крохотным окошком посреди, куда те, кто их любил, приносил им еду, оставляя ее на карнизе. Но потом наступал день, когда изнутри уже никто не откликался, и кувшин с миской оставались нетронуты, а коршуны, рассказывал старик, лишь кружили над склепом, но никогда на него не садились и не покушались на полати, и точно так же кружили они над рекой, будто над почерневшим вспученным трупом, и тогда те, кто был жив, решили, что, стало быть, это река, а значит, отравлены все и дело только во времени. И хуже всего было женщинам, кормившим младенцев грудью, темневшим лицом при мысли о том, что молоко их уже отравлено, и когда руки их, сжимавшие детей в объятиях, начинали гореть ядовитым огнем, они уходили тоже, и спустя день или два раздавалось из склепа рыдание, которое не надо было объяснять, но после него женщин тех так и не видели, а с карниза худая твердая кисть снимала лишь кувшин с водой, скинув наземь еду, и иногда, при жарком закате, оттуда слышалась протяжно колыбельная, от которой тем, кто прятался друг от друга на живом еще берегу, хотелось оглохнуть. А потом построенных склепов оказалось уже недостаточно, и хмурые мужчины стучали в ворота соседей и в двери сродственников, и те, кто посмелее, откликался на зов, и они шли с молотами и заступами на плечах через предавшую их реку к белым камням. И новые склепы были больше и просторнее первых, и изнутри щедрее выложены полатами. И вот, рассказывал дед, настала минута, когда кто-то из них покинул свой дом и, вместе с целым семейством, гордо прошеествовал по пыльным улицам вымирающего аула к мосту. Там они дружно разулись и, закатав рукава, совершили последнее омовение, лишь затем перешли на левый берег и, помогая слабейшим, скрылись в узком окне прохладного склепа. И громкий смех оттуда был страшнее плача, ибо, заслышав его, прятавшиеся в своих домах ощутили, как липким потом, выступившим на губах, их покидает последняя надежда. И тут уж главным врагом для них сделалось время, потому что было это как пытка – ходить под смертью, пить ее и непрестанно лицезреть, и ожидать ее прихода уже куда сильнее, чем предстоящей жатвы.

– Ты понимаешь? – спрашивал старик.

И он не знал, что отвечать, ибо тогда еще не видел смерти воочию, как не видал самой реки и склепов.

– Но почему? Разве они не могли убежать? Взять пожитки и броситься дальше, хоть к лесу. Или сюда, за перевал?

– Нет, – говорил старик и горько усмехался. – Кто-то, конечно, пытался, да вот только она их уже околдовала.

– Река?

– Куда бы ни шли, они словно уносили ее за собой. Чего ж удивляться, что никто не уцелел...

– Почем ты знаешь?

– Память, – отвечал старик. – В ней для них и места почти не осталось, выходит, так и не пустили корней.

- Ты говоришь, почти?
- Так... Кое-что. Осадок. Тень.
- Расскажи.
- Будто бы двое из них изловчились, снарядили обоз и одолели-таки перевал. Они да их домочадцы, только это не помогло...
- Почему?
- Земля не приняла.
- Наша земля? Ты говоришь о ней?
- Дед кивнул и спрятал глаза.
- Они на ней не прижились.
- Тоже были больны?
- Так наши решили. Конечно, нельзя сказать наверняка... Как бы там ни было, а встретили их мечами... Нет, не убили. Провели перед ними черту, а потом по той черте пустили пламя, запретив переступать через выжженную полосу. Шла она полукругом, дугой, и нигде не подступала к воде ближе, чем на двести шагов. Ведь то была уже наша река... Чего ты хочешь – триста лет назад!.. Они боялись.
- А что же те?
- Ушли.
- Ушли?
- Ушли назад. Похоже, что она их призвала обратно, они и так уже были порчены... Так говорит легенда.

V

И вот теперь мальчишка видел ее, темно-зеленое чудище, проклятье веков, владыку пустого ущелья, в котором если что нынче и жило, что-то в нем обитало, так только ее же свирепое эхо. Но после пролитых слез она казалась ему слабее, уже и, может быть, лукавей, чем полагалось древней тайне, настоящей на ужасе. И казалась куда меньше горя, которое он перенес. Ткнув пальцем в серый островок среди потока, он спросил:

– Отчего шесть? Так насчитала легенда?

– Нет, – сказал старик и, подмигнув, тряхнул головой. – Легенде тут уж все одно, что шесть, что десять... След – вот что важно.

Мальчишка не отводил взгляда от склепов на пяточке каменистой земли и что-то бормотал, словно силился вспомнить. Потом повернулся к старику:

– Разве следов не два? Ты забыл про вершину...

Дед лишь всплеснул руками. Внук улыбнулся и ковырнул носком арчит⁴ зернистый снег. Когда-то здесь тоже высилась скала, неприступная и острая гранитными боками. Как топор, рассказывал дед.

– Мой отец ее помнил, – говорил он мальчишке, когда они сидели вечерами у огня в центре хадзара, чьи запахи еще не ведали вкуса набухшей коры. Растопырив ладони, будто вспорхнувшие над пламенем розовые крылья, он увлеченно продолжал: – Гляди... Исток начинался чуть в стороне, на самом краю хребта (когда-нибудь я покажу тебе). Скала же вздымалась большим тусклым лезвием, занесенным над самой рекой. На рассвете гранит сверкал верхушкой, как наконечник копья на костре, – какие-то минуты, пока солнце не очнется и не поползет ввысь. А потом она (река), видать, все же не выдержала, и как-то ночью наши услышали грохот, да такой, будто сердце самой земли разлетелось в клочья, и тогда они увидели, как по черному небу ползет, осыпая прахом звезды, мятежная ее душа. А потом долго не наступало утро, и шум от крошащейся в бездну земли был похож на топот изгнанных небожителей, а наши слушали его, разинув рты, и старались понять, куда те боги бегут, чтобы вычислить, кого они затопчут первыми... И вот что удивительно, – горячился дед, а глаза его уже сияли медным отсветом тайны: – никакого землетрясения не было и в помине. Ни трещин, ни звона цепей в очагах. Лишь слепая, нездешняя пыль забивала им глотки да еще казалось, будто где-то поблизости буйствует тяжелый, громкий дождь. А потом, не успели они толком прокашляться и стереть грязь со лба, ночь замолчала, зашаталась и опрокинулась туманом им под ноги, и сильное, белое солнце осветило разбитую гору, словно голову, скошенную под скулу кривым серпом. На месте же прежней скалы зияла рана. Рана быстро затягивалась желтоватым рубцом, пока не исчезла вовсе, превратившись в синюю мякоть, в которой они не сразу признали осколок неба. В остальном все было как раньше. Только чуть изменился самый звук тишины, как бывает, когда вырубят новую дверь в стене. А еще через пару недель они-таки рискнули и пошли посмотреть, уже почти с подножия пробивая свежую тропу заместо проглоченной старой, чтобы выйти к изувеченной вершине и заглянуть за нее, туда, на другую сторону. И тут, – рассказывал дед, вскинув подбородок и странно лоснясь взволнованной бледностью губ, – им открылось такое, что напугало их еще на сотню лет вперед, ибо теперь они поняли, что она проклята дважды. Ведь убить аул ей показалось мало, ей было надобно его стереть, сожрать, соблазнившись обглоданными ветром костями, и, свершая попутно жестокую месть, уничтожить скалу. Она заметала следы и избавлялась от единственного оставшегося свидетеля (я говорил тебе – тусклое лезвие. Занесенный над нею ржавый топор, как извечный укор ее подлости) ... Но что-то ей помешало, – говорил старик. – Быть может, непроглядность

⁴ Арчита – обувь из сыромятной кожи (осет.).

тьмы, а может, азарт да излишняя злоба, только впопыхах она допустила небрежность. Что-то ей помешало, потому что осталась досадная клякса, въедливый след, нарыв, плевок проклятия, что, как родимое пятно, уже не смыть и не стереть.

– Шесть склепов... Ты о них?

– О них и о судьбе, от которой даже ей было не спрятаться, потому что, сколько она ни пыталась от них отделаться, до одурения наливаясь ливнями и талой водой с ледников, ей не удавалось слизнуть хотя бы ветхую стену, одну-единственную, не говоря уже о двадцати четырех. И выйти из берегов, затопив пол-леса, ей было куда как проще, чем дотянуться до полатей, так что в конце концов она отступила, сникла и сдалась, прикинувшись покоренной.

– Но кем? Неужто склепами?

– Судьбой.

– Это как? Объясни.

– Не сейчас, – уклонялся старик. – Когда-нибудь ты увидишь их вместе и поймешь...

Теперь он видел их, но вряд ли понимал. Однако спрашивать снова не стал, словно предчувствуя отказ, а за ним – удушливое смущение, способное испортить весь этот день, уже спекавшийся на горизонте в лиловую корку. Солнце скучало и уходило прочь. Пора было спешить.

– Вроде бы я готов тоже, – сказал старик, и мальчишка, послушавшись, шагнул к тропе...

VI

Только через два месяца ему станет ясно, что значили те дедовские слова: они поднимались к вершине еще и затем, чтобы старик попросился, испил напоследок глубокой небесной печали и приготовился к уходу – к смерти, которую кротко встретил за тихим добрым сном. К утру на непривычно гладком лице его покоилась сизая паутинка, не волнуемая ни теплом, ни дыханием. Похоронили его рядом с давно умершей женой и обоими близнецами, и мальчишка подумал, что нынче все они разом сравнялись в возрасте, и, только теперь не сумев укротить расплзающиеся уста, он надолго и горько заплакал, убежав с ненавистного кладбища.

Но спустя полгода, когда его оглушило бедой, слез не было вовсе. Он только ходил, кивал, молчал, ел, смотрел на чужие руки и словно на себя самого, из которого выбрался, вышел, сбежал, чтобы не захлебнуться болью и не переломиться по хребту от сознания того, что на него обрушилось. Он будто оброс со всех сторон мягкой, невидимой глазу стеной, мешавшей ему ощутить свою прежнюю – простую и близкую – связь с предметами, запахами и голосами, да еще вот все время его тянуло резко, внезапно обернуться и вновь встретить, поймать то, что изначально составляло неотъемлемую и главную сущность мира, в который он был впущен десять лет назад; мира, где не было ни этой нелепой равнодушной размеренности (стук деревянных колес по улице и скрип уключин, звук катящихся альчигов⁵, бесноватый лай собак, плач капризничающих детей; родительская комната, гостеприимно принявшая старшего дядю с его молодой женой и спокойно сносящая их приглушенный полночный смех; шепелявое посвистывание нового деда, когда тот, что-то увлеченно обдумывая, скоблил ножом влажную соком тростинку; утренний шорох метлы, стирающий со двора плеск весенних луж; зеленеющая первая трава и возня воробьев над жирным червем – все это было неправильно, постыдно и гадко, потому что почти все это было и раньше, а оно, раньше, сгнуло для него навсегда), ни страшных черно-белых снов с зевающими ртами, ни мычания толстого, слюнявого существа с бестолковыми руками и рыхлым телом, которое дважды в месяц им с младшим дядей приходилось мыть в тесном низком корыте, предназначавшемся прежде для помоев, идущих на корм скоту. Тело колыхалось, пуская дряблую пузыристую волну, и издавало звуки, похожие на фыркание лошади, пока мальчишка тер его скребком и жарко ненавидел за то, что выжило только оно из троих, выжило, несмотря на то, что перестало быть человеком, а превратилось в слезливое прожорливое животное, названия которому никто не знал. Дни напролет оно лежало в нижней комнатухе, рядом с кладовой, и поводило выпученными глазами, непрестанно шаря руками по паху и животу, скуля по-звериному от постоянного, неутолимого голода, который могла унять лишь ночь – не сном (потому что глаза оставались открыты и все так же трудились, вращая зрачками по кругу), а каким-то восторженным изумлением перед тем, что делала с пространством темнота. Тело ворочалось и сопело, только мычания не было. Оно начиналось с рассветом, когда пробуждались руки и принимались сновать по тому, что было раньше шумным, добрым и веселым человеком, так удивительно похожим на отца, и вспоминать про это было вовсе нестерпимо, и оттого мальчишка старался не глядеть ему в лицо, чтобы не будоражить в себе тошноту, подплывшую к горлу...

Голову отыскали шагах в трехстах вниз от дороги. Она недвижно торчала из грязи, вросши туда подбородком, и, если б не руки, лихорадочно шарившие перед собой, можно было подумать, что голова отрублена и брошена здесь отомстившим врагом. Уже тогда он перестал отзываться на речь, будто проглотил со страху все слова. Труднее всего оказалось вытащить ступни из погнутых стремян – каким-то чудом он удержался в седле кобылы. Ее пришлось

⁵ *Альчики* — надкопытные суставные кости барашка, используемые в прошлом для игры осетинских детей (соответствует русской игре в бабки).

откапывать вместе с ним. От кобылей морды осталось кровавое месиво с бурыми ноздрями, из которого вдруг, как вскинутая пружиной, вынырнула голая подкова лошадиной челюсти без зубов, и тогда мальчишку крепко схватили в охапку и утащили в аул. Там его привязали к коновязи, и афсин с невестками вылила на него несколько ушатов воды, прежде чем он перестал кричать и пинаться. Потом афсин велела отворить пошире рот и, когда он послушался, больно двинула его локтем под дых. Мальчишка охнул и вмиг ощутил, как в рот ему вставили шершавую ступу, поднесли к ней бурдюк и влили ему в нутро вонючую араку.

Когда он проснулся на собственных нарах, в хадзаре было громко от рыданий и как-то по-зимнему душно. Он посмотрел на укрытые в бурки тела, но ни слез, ни крика уже в себе не нашел, а только устало подумал: «Я так просил их взять меня с собой...» Если он что-то и чувствовал в ту минуту, так это беспредельную, огромную обиду да дурноту от выпитой араки. Потом, наутро, он внезапно, с каким-то унылым изумлением, понял, что не чувствует ничего, ни-че-го, а только наблюдает за происходящим, как за окном, в котором, волнуясь, хлопочет множество людей, и при этом никто из них тебя не замечает, даже когда случайно поглядит в твою сторону...

Так он лишился отца и матери, и, пожалуй, среднего дяди тоже, хоть тот и выжил, угодив вместе с ними под сель. А еще через полгода, следующей осенью, он лишился и всех остальных, но – уже по собственной воле, потому что не пожелал отдать на откуп могилы, которые они, новый дед и двое его сыновей, променяли на пятерку угнанных ими коней, лучших в ущелье, двух из которых вполне хватило бы, чтоб обзавестись наделом земли за южным перевалом. Но он, мальчишка, вернулся – на целых тридцать лет, и вчера они закончились, потому что вчера он вернулся к тому, от чего не уйти. «Что бы ни произошло, умру я здесь, – думал он, глядя в сырой настил потолка. – У Проклятой реки. Я слышу это сердцем. Слышу это, как взгляд. Выходит, так тому и быть...»

VII

Женщина лежала на спине, чуть приподняв колени, и молила богов даровать ей прощение. Мужчина отвернулся к стене и неуклюже притворялся спящим. Он все еще ее стыдился, и оттого она чувствовала себя виноватой вдвойне. Сегодня к этому прибавилась еще и тревога: незнакомец ей не понравился. От него веяло какой-то горькой, пронзительной бесприютностью, которая пугала и отвращала ее больше, чем дикая неприкаянность места, где шесть месяцев назад им довелось заночевать под сытым звездами небом и где теперь стоял их дом.

– Он пахнет воском, – сказала она, посмотрев в плоский затылок, и замерла дыханьем, стараясь не пропустить его слов.

Мужчина долго не отвечал, потом почесал плечо и едва слышно буркнул:

– Пусть от него хоть псиной разит – мне и дела нету, пока выюки его пахнут сыром и набиты семенами да порохом.

Женщина закусила губу и впиалась ногтями в ладонь. Всякий раз после близости голос мужчины менялся и делался неродным, будто тот втихомолку над чем-то посмеивался или мысленно беседовал с кем-то невидимым третьим. В такие минуты он казался ей совершенно чужим, неприятным и, может, пустым даже, неумным человеком, и было непонятно и униЗИтельно, что она лежит с ним сейчас в одной комнате где-то на самом краю земли и делит ложе из сухой травы, тертой хвои да нескольких кабаньих шкур. Но ненавидеть его долго не получалось, и от сознания этого иногда ей хотелось расплакаться...

Часто ей думалось о том, что́ будет, если она его потеряет, если он не вернется с охоты или будет снесен волной. И тогда она понимала, что страшнее этого в целом свете ничего нет и что, не дай-то Боже, случись такое – ее в тот же миг оставит душа. Он приручил ее, как приручают лесного зверька, околдовывая его терпеливой, спокойной силою, после чего сама собою рвется нить, связывавшая его с прежней наивной вольницей.

В тот главный день она боролась с ним, как могла. Рычала, кусалась, царапала ему лицо, ухмылку, шею, а он лишь скалился в ответ, заклоняясь плечом, и небрежно скидывал с себя ее руки. Она молотила его кулаками, норовя угодить в висок, впиалась зубами в ключицу, чуяла языком его обильную, наглуую, пряную кровь, но он и не вскрикнул, а только шире раздвинул губы и как-то лениво даже, без труда и спешки, высвободился, нажав ей пальцем на впадинку под ухом, и тут же что-то ласково в него шепнул, всколыхнув в ней бесстыдство и ненависть. Наконец она нащупала в траве надежный голыщ, со всего маху обрушила удар ему на спину, и тут он обмяк, потемнел лицом, затем резко выгнулся дугой и странно вздрогнул, словно встретил потускневшим взглядом смерть, и в то же мгновение ей стало очень холодно и громко. Под нею плескался штормом гром, и, прежде чем в нем утонуть, она увидела, как сквозь высокую траву в нее, в ее разверстое лоно, стекают серебром расплавленные звезды.

Спустя минуту, перестав кричать и уже прозрев от пронзительной тишины, она вдруг с отчетливой ясностью осознала, что опозорена. Перекатившись на раненую спину, мужчина прикрыл глаза и тихо застонал от боли. Она сидела перед ним, тупо раскачиваясь взад-вперед, и грызла растрепавшуюся косу, пытаясь вспомнить, откуда взялся этот белый, круглый, сальный взгляд, наблюдающий за ней из-за колышущихся зарослей тростника и мешающий ей совершить то, что она должна была совершить во что бы то ни стало. Сомнений в том, что это ей удастся, у нее не было. Потом она поняла, что это всего лишь луна, но переждала еще немного, соображая, как лучше подобраться к кинжалу. Он валялся в двух шагах от нее и блестел длинными ножнами. Где-то вдали, должно быть, с реки, раздалось конское ржание. Выходит, второй был по-прежнему там, а значит, воспрепятствовать ей все равно не успел бы. Однако и мешкать было нельзя. Она отерла рукавом кровь с губ, вцепилась в острые стебли травы, вскочила на ноги и бросилась к кинжалу. Схватив его, метнулась обратно, выпрасты-

вая на ходу лезвие из ножен, но оно отчего-то не поддавалось, рука скользила по мокрым, толстым ножнам, а он уже вставал ей навстречу, выставив вперед широкую ладонь, будто зывал о пощаде. На мгновение она остановилась и почувствовала хлесткий, как плетью, щелчок по лодыжкам. Споткнувшись о него, не удержалась на ногах и стала жалко, беспомощно падать на мужчину, целя нераскрывшимися ножнами ему в лицо и понимая в исступлении, что удар придется мимо. Почти одновременно она услышала два близких, сочных звука, как будто лопнула гноем сама эта гнусная ночь, и в руках ее что-то задвигалось, лихорадочно изгибаясь. Тяжелая капля липко задела ее по щеке, и лишь тогда, взвизгнув, она разжала пальцы и покатилась прочь, туда, где стоял он и сжимал кинжальную рукоять. Нога его лежала на шее змеи, выжидая, когда та перестанет извиваться. Совсем рядом бился, перекручиваясь и уползая, блестящий отрубленный хвост. Женщина села на колени и завизжала было опять, но стоило ему крепко, как-то жестко и властно, взяться за ее подбородок, – крик погас, как лучина в золе.

– Добей ее, – сказал он и протянул ей кинжал.

Она замотала головой, не сводя глаз с его улыбки, в которой, как и в голосе, была не издевка, а какое-то гордое, нежное удивление, словно он любовался дорогой покупкой, о которой давно и тайно мечтал.

– Рысь и гадюка... – он тихо засмеялся, потом быстро нагнулся, и она услышала, как, глухо звякнув, мягко вошел в землю кинжал. – Пойдем отсюда. Омоешь мне раны.

Отдернув лицо, она медленно встала, оправила платье и, шатаясь, пошла на шум реки. Он не окликнул ее, и тогда она побежала, одирая о заросли кожу, к берегу, в ночь, скрываясь от его повелевающего взгляда, которого она, как подсказывало ей трепетавшее, маленькое сердце ее, слушалась в последний раз...

Слезы застили ей глаза. Не разбирая пути, она бежала по черным теням тростника, опрокидывая их неистовыми руками, пока не сшиблась, охнув, с чем-то твердым и живым. Мир закружился перед ней, играя вспугнутыми красками. Запутавшись в них и не устояв от толчка, она опять упала. Едва подняв голову, решила было, что это он, что он настиг ее, и тут же в груди ее сладко заныло. Когда же пьянящая синяя пелена стала рассеиваться, она увидела, что обманулась, и тут же звонкая, жаркая кровь прилила к ее щекам. Она зачерпнула в ладонь горсть каменистой жижи и, процедив сквозь зубы проклятие, швырнула ею в осунувшееся лицо того, кто, понурившись, держал под уздцы лошадей и о чьем существовании она уже успела напрочь забыть. Теперь его призрак – бледный срам, угрюмый слух, слуга ее позора – восстал пред ней, но не посмел сказать и слова. Увернувшись от броска, он спрятал от нее свой взгляд и скрылся в высокой траве. Всклипнув, она добрела до воды, опустила горячие кисти в обжигающий холод реки и предоставила их воле течения. Руки повисли в пенном потоке, как пара белых птиц, плывущих в облаке. Лишь посидев так с несколько минут, она вспомнила слова, которыми приказала обратиться его другу, и вдруг негромко рассмеялась, потому что никогда и не подозревала, что знает такие слова. Потом она вспомнила, как бросилась на мужчину с сонной змеей наперевес, и засмеялась опять. Потом она смолкла и тут же, не успев перевести дух, самозабвенно заплакала, испугавшись своего смеха, постыдных слов, бескрайней сумасбродной ночи, собственной радости, но больше – самой себя, способной снести все это и не утопиться в гремящей реке. Потом она услышала неспешные шаги за спиной, и мужчина сказал:

– Скоро утро. Как рассветет, наберешь плавник для костра.

Она не ответила и только вжала голову в плечи. Когда он ушел, она подумала, что совершенно не помнит его лица. «Не помню лица человека, сделавшего меня женщиной». Она попыталась вспомнить его имя, но и это ей не удалось. Она лишь знала, что сможет распознать его из сотен других имен, если ей вдруг придется их все испробовать на слух. Только этого, верно, мало... Ей стало грустно и обидно за себя. «Наверно, я плохая женщина». Обхватив локтями колени, она почувствовала мягкую печаль и погрузилась в нее всем своим существом.

Когда она проснулась, солнце уже выходило из-за гор, и, чтобы успеть собрать хворост к его приходу, ей следовало торопиться...

VIII

Сперва был шалаш. Тростниковая хижина с низким входом и запахом прелой воды от бурых стеблей и прибрежной глины, оползавшей со стен всякий раз, как накрапывал дождь. Глина осыпалась и падала комьями в мелкий ров, очертивший жилище нечетким прямоугольником. В ненастье ров быстро наполнился водой, она начинала просачиваться внутрь и подбираться к плетеным матам, на которых они лежали. Маты набухали и шевелились под телом, словно плоты на волне. При каждом движении они издавали звук, похожий на лопанье пузырей. Когда дул ветер, хижина дрожала и тонко гудела щелями, отчего ей, женщине, представлялось, что они плывут, поддавшись неведомому течению, которое уносит их безвозвратно в белый туман нездешней и праведной тишины.

Друг ночевал в расселине скалы в полуверсте от того места, где стояла хижина. Он отправлялся туда без коня, пешком, и, провожая его взглядом, они смотрели, как он карабкается в сумерках по развалу горы. Он растворялся в подступающей тьме, и какое-то время они еще сидели у гаснущего костра, почти не обмениваясь словами. Потом мужчина засыпал угли, брал ее за плечи, распускал ей косу, она послушно входила в хижину и, зажмурившись, вдыхала жар его тела, пытаясь отыскать во мгле стекающие звезды.

При полной луне стебли тростника едва заметно поблескивали, рисуя на стене мутный бесплотный овал. Укутавшись в бурку и неотрывно глядя в него, женщина молила небо даровать ей дитя. Она старалась как могла, но шли дни, проходили недели, а она все так же была пуста. «Он покорила меня, но не кровь, – размышляла она, сцепив в отчаянии руки под грудью. – С ней нам и вдвоем не совладать. Если так, я уйду раньше, чем он меня отсюда погонит. Река-то рядом, идти недалеко...»

Однако мужчина будто и виду не подавал. Только часто, оставшись наедине с собой, внезапно холодел зрачками и тяжело задумывался, лицо его делалось далеким и чужим, словно жизнь в нем замирала и ему открывалось нечто такое, чего нельзя увидеть обычному смертному. В такие минуты женщине казалось, что это и есть настоящая правда о нем и что ее самой для этой правды просто не существует. Очнувшись от пристального взгляда, он оборачивался и, все поняв по ее глазам, виновато улыбался, только от этого ей делалось хуже...

На рассвете мужчина вздрагивал, широко распахивал глаза и тут же, позабыв одеться, бросался за дверь проверить коней. Потом она слышала вздох облегчения за стеной и понимала, что их все еще трое. Хорошо это или плохо, она бы сказать не могла. Проще было об этом не думать.

Прежде чем друг возвращался, она успевала принести в кубышке воды, разжечь костер и развести в уродливом горшке из глины жидкую похлебку из улиток и крапивы, сорванной у запруды. Пожиться чем-то еще на этом берегу было трудно. Скалистая гора была почти неприступна. Разве что иногда им удавалось подстрелить какую-нибудь птицу или освежевать раздавленную конским копытом змею. Время от времени они бросали жребий, и кто-то из них, из мужчин, набивал газыри порохом, прятал их в кожаный мешочек, подвязывал его шнурком к затылку, разувался, напяливал сапог на ружье, опоясывался плетеной из тростника веревкой, и они уходили к реке. Стоя у хижины, она смотрела, как они тащат за собой длинную бурую плетель, всякий раз новую, как они крепят ее в два обхвата к огромному прибрежному валуну и тот из них, на кого выпал жребий, ступает в бурлящий поток. Тогда она поворачивалась и шла прочь, чтобы не видеть, как его будет швырять на камни и, калеча, сбивая с ног, уносить вниз по течению.

Случалось, они возвращались уже через час, истерзанные борьбой и сердитые до того, что не замечали ушибов и ссадин. Женщине не нужно было объяснять, что это означало. «По крайней мере, теперь им понадобится несколько дней, – думала она про себя и чувствовала, что

от радости ее клонит ко сну. – Несколько дней, пока не высохнет порох. Все оттого, что у них деревянные газыри».

Лес стоял на другом берегу. Когда им (одному из них) удавалось туда перебраться, не замочив пороха, двое других слушали его охоту и считали прозвучавшие выстрелы. Здесь, у подножья скалы, они теряли силу, дробились сухими щелчками, и эхо катило их по ущелью, словно россыпь камней. После третьего выстрела оба – и женщина тоже – направлялись к берегу и принимались терпеливо ждать. По уговору, попыток могло быть лишь три. Когда охотнику везло, это было сразу заметно: согнувшись под ношей, он добредал до реки, бросал наземь добычу и начинал ворожить над тростниковой веревкой, потом делал знак, и они принимались тянуть за нее, пока не выпрастывали на берег завернутое в шкуру мясо. Если работа спорилась, разделанная туша, брошенная в каменную яму, служившую ледником, слегка дымилась и покрывалась мелким бисером капель. В погожие дни, нанизав мясо на прутья из плавника, они вялили его тонкими кусками на солнце, запасаясь впрок на зиму.

Бывало, однако, охотник приходил ни с чем, и тогда мужчины мрачнели, стараясь не упоминать в разговоре про напрасно истраченный порох и пули, которые тоже были наперечет. Застрявшую в подбитом звере пулю можно было выковырнуть ножом, а потом переплавить в отворе стального стремени. Очень скоро женщина выучилась смотреть спокойно на то, как они хлопчут и волнуются, ощупывая теплую, влажную, почти парную смерть, но поначалу следить за этим ей было тягостно.

В непогоду ущелье преображалось, чернело и словно бы делалось глубже, постепенно увязая в тумане и бледно светлея глухим, ослепшим небом. Оно походило на склепы и пустоту, в которой они, все трое, начинали явственно различать иные звуки – голоса веков, властвовавших в прежнем безлюдье, – холодное бормотанье камней и привольный гул ветра, пахнущего грозой. И тогда, с каким-то сладострастным ужасом, подступавшим к ней изнутри, из самых недр естества ее, женщина погружалась в томительное ожидание скорой развязки, кары, которой было не избежать, потому что мир их уже не слышал, уже о них позабыл, уже отринул их, раскрывшись серой изнанкой эха зову того, что их так и не приняло, не заметило и лишь оттого не прогнало сразу, ибо было больше и этого дымящегося туманом ущелья, и этой реки, и этих склепов, и даже взорвавшейся первым громом пустоты, треснувшей поперек измаранного теньями неба...

Но с наступлением нового дня на смену страху и ужасу приходил задумчивый, чистый, бездонный свет утра, а с ним – и покой надежды, что всякий раз возвращалась к ней в душу прозрачной каплей прохлады из какого-то заветного далека. И тогда ей очень хотелось жить, кричать, любить и плакать, хотелось замереть и не шевелиться, чтобы не выпасть из этого сочного мгновения, похожего на полет. И сразу мир вокруг представал уже совсем иным, оживая красками и словно исцеляясь дыханием; в нем не было ни угрозы, ни враждебности, ни стыда. Теперь в нем не было и прошлого, от которого они бежали, а на стенах белых склепов играли блики отраженной воды. Река наливалась светом, делалась гуще и сильнее, греясь под лучами тонкой призрачной кожей, как, задремав на солнце, нежится в тишине чуткое тело змеи. Стерев последнюю дымку испарины, ущелье отворялось каждой складкой горы, каждой черточкой тени, каждым пятнышком цвета, рисуя восхитительную красоту там, где прежде властвовал гром. В такие минуты, минуты мучительного и прекрасного, какого-то воздушного откровения, женщина ощущала, как ее сердце наполняет невыразимый восторг, потому что она (они! все вместе, каждый из них, и даже птица в небе) обретала ту странную, невероятную неведомость, из которой сотканы жизнь и беспредельность пространства, которое пьешь и никак не можешь напиться, пока длится этот миг, оторванный от лавы времени и неподвластный ни памяти, ни страху о прошлом, ни страху о будущем, ни даже страху расплаты за то, что о них позабыл. Этот миг был верховье, исток, зачин, откуда все начиналось – все, что дышало, чувствовало, томилось, было, умирало, рождалось, копилось, есть и будет на этой земле и под этим

небом и к чему они – мужчина, женщина и мужчина – имели отныне такое же отношение, как и свет, птица в синеве, буйная река, лес, горы, склепы, воздух, запах глины, искореженная вершина или вкус ветра, от которого кружится голова. Обуревавшее их чувство, пусть и не передаваемое словами, было могущественно и звонко. Его можно было уподобить пророческому озарению, после которого уже не бывает пути назад, к себе прежним. Ощущение было такое, будто они оказались вдруг на теплых ладонях богов. В такие дни с ними и происходило все самое знаменательное...

IX

Яйцо отыскал друг. Он принес его к исходу дня, когда они, насытившись собою до изнеможения, уже покинули шалаш и ждали его появления у костра. Едва он приблизился, женщина вскочила с земли и шмыгнула за полог из шкур, скрывшись в хижине. Присев на корточки, друг помолчал с минуту, нервно подрагивая ноздрями (словно чурается... Словно чувствует запах греха, подумала женщина), потом, кивнув на закипавшую похлебку, промолвил:

– Неплохо бы дичью сдобрить. Или хоть тем, что на нее похоже...

– Воробьем, что ли? – усмехнулся мужчина.

Тот пожевал губу и сказал:

– Загадка: древнее птицы всякой, но младше любого птенца...

Мужчина перестал смотреть на огонь, перевел взгляд на друга и прищурился. Потом, уже поняв, цокнул языком, повел плечом и спросил:

– На гнездо набрел?

Все еще сидя на корточках, друг отрицательно помотал головой, сплюнул под ноги и сказал:

– В камнях застряло. Стоит себе торчком, словно пуп, и меня поджидает... На, погляди.

Приняв из рук пятнистый серый овал, мужчина оцупал его скорлупу, взвесил на ладони, немного подумал и только было собрался что-то сказать, как внезапно осекся от громкого ржания. Конь – его конь! – застучал копытом и встревоженно всхрапнул. В просторных сумерках, отмытых за день светом, всем троим было видно, что дурит конь неспроста. «Вот оно», – прошептала женщина и принялась истово молиться. Лицо мужчины пошло багровыми всполохами, он поднялся, неотрывно наблюдая за тем, как на крохотном пяточке перед шалашом меряет круг за кругом одержимое знаменем животное, потом бросился к нему, чтобы не дать коню окончательно растрепать укрытую сеном крышу. Он попытался запрыгнуть на него на ходу, но конь увернулся, и мужчина, беспомощно крикнув, больно ударился оземь. Закончив круг, конь присмирел, подошел к хозяину и склонил к нему голову с огромным глазом. Поднявшись, мужчина отряхнулся, провел рукой по гриве, и ему почудилось, что шкура под его пальцами стала твердой и холодной, как подтаявший на камне снег. Он отпустил коня, и тот неспешно направился к берегу.

Когда мужчина снова подошел к костру, друг сказал ему с укоризной:

– Ты чуть не разбил.

Он поглаживал скорлупу, что-то насвистывая, и старался казаться беспечным. Мужчина обхватил голову руками и напряженно думал. Спина его быстро вздымалась и опадала, подчиняясь неровному дыханию. «Сейчас он ему скажет», – решила женщина. Но мужчина смолчал, и вместо него сказал друг:

– Приложи к уху и слушай.

И тогда тот, с кем она делила ложе, выпрямился и посмотрел на второго взглядом, в котором читался вопрос, и тут ей показалось, что он перестал дышать вовсе.

– В том-то и штука, – ответил друг. – В том-то и чертова штука. Тебе решать.

Мужчина не сразу кивнул, потом протянул руку и взял яйцо. Прикрыв глаза, он поднес его к голове и начал бледнеть, пока не сделался белым, как облако у него за спиной. Глядя на них из шалаша, женщина видела, как оно зависло прямо над ним чистым шаром и, роняя легкую пену, метило его родством, настолько явным, что не распознать его было нельзя. «О Господи, – промолвила она, потом затвердила: – О Господи, Господи, Господи!..» Было это, как благословение. Два белых пятна на мгновение соприкоснулись, потом облако оторвалось от его лица и стало отползать на запад. Почти в тот же миг мужчина вновь открыл глаза и, обратившись к другу, произнес:

– Знать, так тому и быть. Не передумаешь?..

Друг был готов ответить, но все ж потупил взор и переждал. Он попробовал улыбнуться, но губы дрогнули, исказив лицо, и он глухо сказал то, что (это было видно по его глазам и устам, лишь повторявшим слова, которые уже выучила наизусть тишина) сочинил раньше еще, чем возвратился к костру после долгой своей прогулки:

– Здесь, кроме нас, и огонь-то разжечь некому. И даже некому увидеть... Просто встать здесь и поглядеть... Коли уйдем, обратно не примет. Не такая это земля. Коли уйдем, уподобимся тем, кто не видит. А где такого глупца сыскать, что саморучно себе бы зрачки умертвил? Тем паче двух или трех таких дураков... Не бывает такого – быть посреди и желать откатиться к обочине. Первый сотому не завидует. И местами меняться с ним не захочет... Кто выше по течению к роднику припадает, для того и вода вкусней. Опушка всегда светлее леса, а для нас что вперед податься, что в сторону – все одно как в чужом лесу искать свою надочажную цепь. Назад же нет дороги вовсе, кровью размыло... И потом: спину всякого путника, пускай бедового самого, уцелить легче, чем остудить тепло в хадзаре, если хадзар тот в подходящем месте вырос и согрет любовью да дружбой. Верно я говорю?

С его лица катился градом пот, глаза сверкали в темноте, опустившейся к ним на плечи за то время, что он говорил. Костер бойко шептался с ветром, задувшим с реки, и брызгал похлебкой, про которую никто из них не вспоминал.

– А как же кости? – спросил мужчина.

Друг сглотнул слюну, кивнул – им почудилось, с облегчением – и ответил:

– Кости нам не помеха. Рядом с ними и стены крепче будут...

Он засмеялся. Смех был настоящий: теперь он сказал все, что требовалось. Сказал то, что должен был сказать другой, тот, кому принадлежала женщина, ибо она была единственным залогом, единственной надеждой, обещанием того, что будущие стены послужат не только укрытием, не только спасением от холода и зимы, а сделаются общим домом. Но тот сказать все это не мог, потому что ему мешал он, сам друг, и может быть, даже мешал подумать, хотя бы в мыслях признаться в том, что задевало всех троих, обрекая его, третьего, на долгие годы покорного и одинокого терпения во имя того, чтобы двое других пускали здесь свои корни, помогали им крепнуть и растили новые стебли под самым боком у темнеющего и засыхающего ствола. А потому тому, кто ею, женщиною, обладал, сказать такое было не под силу оттого уже, что для дружбы всегда надобны двое, даже если кому-то из них (а может, и обоим сразу) эта дружба сделалась в тягость, не ставши при этом слабей – так сбитые в мозоли руки хранят верность усталости и, едва очнувшись после короткого сна, предпочтут безделью новые шрамы и муки труда.

Они были друзья – когда-то лишь в шалостях, проказах и потасовках до первых слез, потом – в притворных насмешках над теми, кто раньше повзрослел, в им проигранных драках и в зависти к их ломающимся голосам и пушку на щеках, потом – в вечернем молчании, полупризнаниях и похвальбе, следовавшей за ними повсюду вместе с запахом мужаяющей плоти, как незаметно выросшая тень, потом – друзья в предвкушении подвига, сумасбродства или проступка (смотря как ляжет жребий), когда просто ждать, дышать, ходить по земле и целиком теряться в желании, застывая влюбленным истуканом посреди бела дня, одному из них стало невмоготу, а второй был младше на год и не хотел с тем смириться, потом – друзья в ночи, когда они ее подстерегли, украли, были ранены и сами стреляли в ответ, угодив в человека, когда ушли от погони, несмотря на пулю в плече одного и кровавый след от укуса в бедре у другого, несмотря на веселый, бешеный страх и сутки дороги с двумя небольшими привалами под сенью впервые увиденных скал, пока один смотрел на взмыленных коней (они бродили, шатались и фыркая, по ярко-зеленой поляне, густая пена сползала с их крупов, словно износившаяся за день белая шкура, а тонкие ноги, лоснясь от влаги, мелко подрагивали, скользя копытами по траве), а второй не сводил глаз с завернутой в бурку женщины, размышляя о том, что ради

этого вот существа, бившегося без устали в черном коконе бурки и не проронившего ни слова с тех пор, как он перебросил ее через седло и полетел по звонкой ночи прочь от всего, что могло когда-либо заявить на нее свои права, ради этого существа, боровшегося с ним с остервенением дикого зверя и впившегося ему зубами в ногу в тот самый миг, когда они покидали аул, слушая спинами обжигающую злобу метивших в них выстрелов, ради этого вот существа, ничуть не похожего на тот образ нежной кротости, который несколько месяцев кряду неотвязно преследовал его по пятам и был реальнее всего того, на что он натыкался телом или взглядом, ради этого вот существа он пожертвовал всем, что было прежде его жизнью, и жизнью его семьи, и жизнью его друга, убившего ради этого вот существа ни в чем не повинного человека – только потому, что так велела дружба, а значит, он поступил так не только ради этого вот существа, укрытого, как большое громкое сердце, в теплую бурку и непрестанно колотившего в нее изнутри, невзирая на стянувшие ее ремни. Сидя у каменного подножия незнакомой горы, мужчина неотрывно смотрел на нее, лишь изредка прерываясь, чтобы бросить взгляд на распухшее колено, и капля за каплей заливал рану аракой из бурдюка. Бледный друг, тускнея глазами, дремал в тени, перевязанный крест-накрест башлыком. Он потерял много крови и был далеко отсюда, будто силился вспомнить, придумать, рассчитать, кто он и как это здесь случилось. Словно со стороны наблюдая за ними, мужчина вдруг отчетливо осознал, что не узнает их обоих. Эта мысль, как ни странно, его не смутила, а, наоборот, принесла с собой приятное чувство – умиротворения, на мгновение почти заглушившего боль в ноге. Он улыбнулся и подумал, что не ошибся: любовь, как и дружба, могла удивлять.

Сердце его билось ровно и гулко, как шаг хорошего коня, вошедшего в границы эха, когда перед ним раздвигаются вдруг узкие стены расселины. Оно стало больше, и в отворившийся в нем простор хлынуло свежестью ощущение радостного приятия – этой женщины, умевшей быть разом и самой святой мечтой, и диким ее разрушением, и этого человека, измаранного кровью и сидевшего теперь перед ним без кровинки в лице. В этих двоих запечатлелось все то, что заполнило этот яростный день: тьма и свет, луна и солнце, страх и страсть, восторг, боль и в ней же вызревающее наслаждение, короткая, с выдох, смерть, упавшая под ноги коней, и бегство, длиннее которого была лишь дорога, бегство и погоня, погоня и азарт ее измотать, привал, погоня и опять привал, и кони, кони, кони, а позже – свобода, до которой – так подсаживало ему ставшее тонким и чутким, как собачий нюх, нутро – осталось всего ничего, каких-нибудь пять-шесть часов, пока сердце не перестанет слышать опасность.

К исходу суток они их таки измотали. Друг молчал, прильнув к конской шее, а женщина внезапно сникла и насторожилась, почувствовав пронзительную тишину, какой не бывает там, где хотя бы раз в сто лет пройдет человек или лошадь. Конь под мужчиной остановился и всхрапнул, потом замотал головой, пуская пар ноздрями. Друг привстал в седле и огляделся. В почти крошечной тьме можно было различить разве что расплывчатые очертания скал с трех сторон от терявшейся в обрыве дороги да вкрадчивое дыхание головокружительной высоты, на которую они взобрались. Друг что-то пробормотал, и мужчина, не разобрав ни слова, переспросил:

– О чем ты?

Тот тихо выругался, сплюнул сквозь зубы и сказал:

– Лучше б я служил овцой в отаре у кривого Зелимхана. По крайней мере, носил бы толстую шкуру или, на худой конец, согрелся б у него на костре...

– Ты потерял много крови, оттого и холодно, – отозвался мужчина, а про себя подумал: «Или оттого, что выстудил кровь другого». – Скоро разобьем ночлег, и ты согреешься.

Бурка под его руками шевельнулась и обдала его ладони чуть влажным теплом, и он подумал: плачет.

– Скоро, – повторил мужчина. – Не успеешь пальцы сосчитать.

В мерклом свечении месяца он разглядел туманную дымку, бежавшую серой полоской по камням справа от них – там, откуда, как ему показалось, потянуло легкой, будто из ямы, прохладой.

– Как бы вместо пальцев себе ребра не пересчитать. Ни зги не видать. Перестарались. Это вот и называют каменным мешком? Как думаешь?

Вместо ответа мужчина осторожно развернул коня вправо и взялся наблюдать за тем, как тот робко поводит шеей, склоняет морду к самой земле и прерывисто, словно боясь уколоться, втягивает воздух. Потом конь поднял ногу, но, струсив, уложил копыто в прежний след, так и не сдвинувшись с места. Дав ему время освоиться, всадник легонько надавил пятками ему на бока и опустил поводья. Конь дрогнул и, прежде чем решиться, сперва отступил назад. Затем, поняв, что никто не собирается его принуждать, осмелел и сделал шаг вперед. Тогда мужчина, ободряя, цокнул языком и самую малость прищпорил. Конь жарко выдохнул, поднял голову и, пьянея от собственной смелости, вошел в туман. Мужчина тонко присвистнул, услышал за спиной нервное ржанье, а потом, почти тут же, – и мелкий перестук копыт, направившихся вслед за ними. Туман был серый, густой, с синими заплатами по краям, он доходил коню до самой головы, так что ни бурки, ни своих рук на ней мужчина больше видеть не мог. Конь тоже шел вслепую, целиком доверившись тому, что только что проснулось в нем мудрой лошадиной памятью. Она позвала его за собой – туда, где так давно не пахло жизнью, что даже выветрился запах последней из смертей. Конь больше ни разу не остановился, пока они не кончили подъем, не одолели вершину и впервые достаточно явственно не услышали того, что было знаком скорого ночлега.

То, без сомнения, была река. И сразу дымка перед ними рассеялась и показала им хрупкую тропу, сбегавшую под склон к воде. Конь под мужчиной радостно затрепетал и, коротко заржав, поспешил вниз, к черной долине, освещенной круглой луной (теперь они вспомнили, что там, за перевалом, тоже была луна, а не месяц, должно быть, их обманула напоздшая туча, изгнанная с небосвода, покуда они одолевали вершину), множеством звезд и отблеском отражений с поверхности реки. На этом берегу тумана не было. Он стелился сбоку от русла и накрывал грязной тряпкой какой-то островок посреди с пятнами строений, а потому они решили, что аул расположился слева. Такой широкой и привольной воды они отродясь не видали, как никогда не слышали и столь совершенной тишины, обрамлявшей ночь надежным, толстым сном. До поры до времени никто из них, из похитителей, тревоги не ощущал, и только женщина судорожно сжалась в комок, когда мужчина снял свою ношу с коня и сам спрыгнул на землю, удовлетворенно озираясь.

– Это же надо, – сказал друг. Уже умывшись, он сидел у самой кромки берега как раз между жадно пьющими воду конями, чьи безглавые силуэты походили в темноте на перевернутые кверху дном котлы на треножниках. – Это же надо – забраться так далеко, что даже вспомнить про то, куда заехал, нечего. Ошибиться – и то не сможешь, потому как и для ошибки тоже надобно знать, с чем это можно спутать. Ты-то знаешь?

Мужчина пожал плечами, переложил плеть в левую руку, а правой указал женщине на реку. Она сидела, закрывшись платком, и не сводила с него горячего взгляда. Отвернувшись от нее, мужчина лишь острее почувствовал его ненависть. Он долго пил, потом опустил лицо в воду, наслаждаясь живым и пьянящим холодом, наполнил рог водой и осторожно поднес его к женщине. Едва рука его поравнялась с ее глазами, женщина ударила по ней, и рог упал к его ногам. Не нагибаясь, мужчина снова пожал плечами и ответил другу на его вопрос:

– Конечно, точно не скажу, но для загона, похоже, сгодится.

– Для чего? – удивился друг. Перестав плескать себе на рану, он смотрел, как мужчина достает из-под его седла тяжелое кольцо веревки и споро, но без спешки, сворачивает петлю. Он стоял вполборота, и лица его видно не было, зато они хорошо слышали его голос.

– Для загона, – повторил он и дернул за веревку с двух концов, проверяя прочность узла, – чтоб усмирять строптивых кобылиц.

Женщина ахнула и метнулась к реке, но не успела сделать и нескольких шагов, как рухнула наземь, подкошенная арканом.

– Присмотри за лошадьми, – глухо сказал мужчина, – а у нас с ней неотложное дело имеется.

Он потащил за веревку, и только тут женщина впервые закричала, разрезая ночь нестерпимой болью своего унижения, словно молнией очертившей межу, через которую ему, другу, путь был заказан. Пытаясь укрыться от крика, он шагнул в поток, оскользнулся на каменном дне, упал на колени и едва удержал равновесие, подставив раненое плечо под напор воды и благодатный шум реки, облившей его равнодушной силою. Но и этой силы не хватило, чтобы начисто стереть отсюда крик, рвавший мглу и комкавший тени, – так сворачивает в черные окатыши огонь сухую шерсть. Кони отпрянули от воды и дробили тьму испуганными ногами, спотыкаясь копытами и тыча мокрыми мордами друг другу в шею. Сквозь рев реки, женский крик, лошадиное топтанье он разобрал еще один звук – секущий частый шелест – и вычислил по нему, что они вошли в пределы тростника. Крик взвизгнул последним отчаяньем, надорвался, эхом откашлялся в стон и пропал, уволоченный в тростниковые заросли.

Обессилев от усталости, воды и шума, друг поднялся с колен и с трудом дотащился до берега. Потом ему стало совсем темно и сразу вслед за тем – ослепительно ярко, как будто ему в глаза швырнули влажную пригоршню света, и, погружаясь в непрочное забытие, краем сознания он успел уловить, что кони уже снова стоят у реки, погрузив морды в воду, да, снова пьют, только не это главное...

Что было главным, он понял лишь тогда, когда опять открыл глаза, а может, эта мысль его и пробудила. Очнувшись от стеклянного звона в затылке, он вдруг с необычайной ясностью, каким-то шестым чувством, постиг, что эта земля пуста. Пуста так, как не бывает пусто ничто под луной, если только наделено душою. С тех пор, как они вошли в этот спящий мир, в нем ничто не изменилось, ничего не проснулось, не ответило, не возмутилось их появлением, не завопило птицей, не вспорхнуло крыльями, не засверкало огнем с того берега и не замерло дыханием с этого.

Ему стало скверно. Он лег ничком на гладкие камни, пахнувшие невидимым мхом, и впервые за сутки вспомнил о Боге. Однако молитва тоже не помогла, она была напрасна, как если бы он бормотал слова не в сокровенное таинство ночи, а в огромный порожний сосуд, слепленный из темноты, лишенной слуха и доверху наполненной холостыми отражениями эха.

Будто привороженные, кони не отходили от воды, словно боялись утратить ее громкую, спасительную близость, обещавшую им наступление утра, – ведь туда, где ревет и плещется вода, обязательно придет умыться солнце. Но поверить в то, что утром станет легче, человеку не удалось. «А может, – подумал он, – это и есть судьба. По крайней мере, какого иного слова для этого нету. Или просто мне оно неведомо».

Когда он распряг коней, действуя одной рукой и помогая себе зубами, шелест раздался снова. Звук стремительно приближался, петляя в зарослях, и еще раньше, чем она выбежала из тростника, он угадал, что будет беда. От столкновения с нею у него помутилось в зрачках. Боль была такая, словно его плечо разорвалось на тысячи мелких осколков (большое теплое гнездо приютило несколько маленьких жизней, а после кто-то жестокий разнес его палкой в клочки). Потом она произнесла такое, во что он отказался верить, хоть и послушно отошел, огибая ее, чтобы уйти с конями туда, где должен был ждать мужчина. Тот человек, кто только что сделал его третьим среди них, потому что второй отныне была она, женщина.

А на рассвете они увидели склепы...

Х

На рассвете они увидели склепы – шесть белых призраков, словно посыпанных сверху меловым дождем. Чешуйчатые шлемы цвета прелой листвы. Дыры одежд на полых телах, повернутых к солнцу. Каждый из них был похож на выплывшую из леса слепоту, забредшую ночью в капкан посреди бурной реки и застигнутую там первым же светом.

Когда костер задрожал, стрельнул искрами и распрямил свое пламя, мужчина поднес к нему оструганный клинышек, дал ему раскалиться, раздул уголек и, вложив другу в зубы рукоять кнута, быстро приложил шипящее острие к лепестку распухшей раны, целя точно в лиловую плесень нарыва. Друг дернулся и взвыл, вцепившись руками в булыжник, который плавился, превращался в мякину и вытекал у него из-под пальцев пористой жижею. Несколько раз умерев и воскреснув, обратившись в пепел и вновь одев свою плоть, друг отворил глаза и провалился взглядом в многослойную голубизну. Камень – твердый плотный урод с щербинами по щекам – выпал из рук и шелкнул землю тупым гладким лбом. Потом друг нашел в небе солнце – юное, складное, босое – и тихо закачался в его мягких руках. Постепенно боль расставалась с яростью и норвила поуютнее, калачиком, свернуться у него в плече. Он сел и снова увидел остров – голую спину речного дна с полудюжиной склепов, – и тогда мужчина спросил, указав туда подбородком:

– Теперь ты вспомнил?

Он избегал смотреть другу в глаза, словно оберегая от стыда за то, что в эту ночь один из них повзрослел на целую жизнь, а второй возмужал лишь настолько, чтобы понять, что это не он. Укротить жизнь значило больше, чем жизнь отобрать, это понимали оба. Друг подложил плавник в костер и чуть тихо назвал ее имя:

– Проклятая река...

– Ни за что б не поверил, – хлопнул в ладоши мужчина и в возбуждении всплеснул руками. В его радости было что-то не то. Что-то деланное, неискреннее, от чего у друга засосало под ложечкой. «Неужто так и бывает, – подумал он в раздражении. – Стоит лишь с кем переспать, как сразу голова и зад меняются местами... Дай ему волю, со счастья такого возьметесь лизать огонь с головни». Он спрятал повлажневшие глаза и, стиснув челюсти, молчал, пока тот продолжал: – Проклятая река! Ты только подумай... Искали б нарочно – никогда б не нашли, а тут впотьмах напоролись. Вот чудо-то! Все равно что по ошибке в худом котелке вместо ботвы луну сварить...

Он засмеялся, стараясь не глядеть по сторонам, поднялся на ноги и пошел, прихрамывая, к ружью, лежавшему у небольшой запруды, которую саморучно заложил с час назад.

– Пойду поохочусь, – сказал он, обращаясь то ли к женщине, то ли к мужчине, то ли к себе самому, – сказал так, как говорит хозяин, которому не перечат.

После его ухода друг долго смотрел туда, где горбился остров, и размышлял о том, что все потерял. На это ему хватило суток, в течение которых он перестал быть сыном, внуком, братом, лишился права ввести в отчий дом ту, что могла сделаться матерью его детей, заменил свою молодость на тоску, чужую любовь и гиблую реку, что когда-то отравила аул и, словно в назидание грядущему, оставила шесть тусклых белым зиять на черепе чумного острова. «И еще, думал он, я убил человека. Надо не забывать. Это тоже вместилось в сутки. Я сделал это так легко, словно походя, так запросто, что даже не успел понять, хотел той смерти или нет. Конечно, я не желал ее ни до, ни после выстрела, о том и говорить не стоит. Но вот чего хотел я в миг, когда нажимал на курок? И почему сейчас это не близко, не внутри, не стонет, не кричит, не гложет мою совесть? И совсем не так страшно, как эта река, этот остров, эта женщина и этот лес, до которого нам так же не добраться, как и к себе домой, в тот запах из позавчера? И почему при мысли об этом мне лишь становится как-то особенно сонно, будто

убийство – та же скука, от которой вянет душа? Что это значит? Взаправду все это? Кто я? Настоящий я или нет? Кто я был и кем стал, пока меня несло, калеча, по этому суматошному дню к большой безумьем реке на самый край света?»

Женщина медленно шла по нависшему над водой обрыву, низко склонившись к земле и подбирая улиток, приютившихся между камней. Сложив весь улов в десятке шагов от костра, она подумала: «Огонь и глина. Я слеплю горшок, а мерку сниму с его же папах. Славный будет горшок». Кони паслись вдальеке, на темно-зеленом холме, теряясь в высокой траве и вновь вырастая из нее коричневыми боками. Женщине было хорошо и тревожно, как случается, когда очень хочется испугаться, чтобы потом разом стало смешно. В попытке вспомнить себя и снова выглядеть серьезной, она поднесла к раздумявшемуся лицу ладони, с минуту изучала их, потом осторожно коснулась жарким языком приставшей к ним росы и, чуть опустив голову набок, вдруг широко улыбнулась. Вкус у росы был такой, будто ее поила допьяна ночь. Со стороны скалы раздался выстрел и пробежал по ущелью трескучим альчиком. Женщина вздрогнула и оступилась, услышав под ногой хруст скорлупы. «Ну вот, – подумала она. – Бедная улитка». Однако жалости не испытала. Внутри ее звенело много быстрых, жадных слов, но слышала она их плохо и не до конца. «Коли промахнулся, – решила она, – рожу ему девочку... Только у него родиться девочки не может, покуда не будет мальчик. Кто-кто, а он не промахнулся. Не из таких...»

Вернулся он к закату, и в руках его не было ничего, кроме тушки сурка, хоть выстрелов прозвучало шесть, и тогда женщине разом сделалось стыдно и страшно, а друг отхлебнул араки из бурдюка, закивал головой и с мрачным удовлетворением сказал:

– Гиблое место. Трое в гостях у смерти. А один из них – дурак.

Мужчина бросил на него свирепый взгляд, но промолчал. Кинув тушку к ногам женщины, он растянулся на спине у жидкого костра и о чем-то долго думал, не сводя глаз с плещи солнца, спускавшегося в лес. Растаяла, растворилась, стекла в лохматую ложбинку горы последняя цветная зыбь, и небо, вмиг погрузнев, задышало над ними стойким вечерним холодом. Огонь послушно лизал розовое днище горшка, пахнущего то ли свежей глиной, то ли плотной сыростью, то ли памятью об обгорелой чуречной корке, съеденной ими еще вчера. Мужчина приподнялся на локтях и угрюмо сказал:

– Завтра отправлюсь в лес. Отыщу мелкое место, свяжем веревку из тростника, и я пойду в лес.

Друг оглянулся на него, погладил налитую свинцом левую руку, пошарил веткой в дремлющей золе и негромко подумал: «Ради нее ты перечеркнул свое прошлое. Теперь ради нее ты готов утопить в Проклятой реке свою жизнь. Только, сдается мне, она сама того не захочет. Потому как, едва тебя расшибет о камни и унесет, словно оступившуюся овцу, туда, где даже солнце станет плевком, едва ты утопнешь, как щенок, упавший в чан с водой, а потом покатишься грязью по камням, едва ты сбежишь от нее – она вдруг поймет, что ты ее обманул. Едва овдовев, она поймет, что ты выменял у реки свою жизнь на одну только жаркую ночь и исчерпал этой ночью ее и себя. А еще она поймет, что отныне сама – лишь память о собственной гордости да стыдливое презрение к самой себе. Отныне она лишь обесчещенная потаскуха, сидящая на берегу с раненым глупцом, убившим ради чьей-то потной ночи, длиною то ли в миг, то ли в целую жизнь, незрячего плясуна, а заодно – и все, что было прежде в нем самом, за ним, вокруг него. И тогда им двоим останется только одно. Нет, правильнее будет признать, что не одно, а два. Им останется только покончить со всем этим или превратиться в скотов, одержимых, вместо жажды жизни, похотью ненависти, которая уничтожит их столь же верно, как тебя самого – лишний шаг в сумасшедшую воду. Ничего иного ты для них не оставишь. Ты даже не захочешь думать о том, что я сейчас тебе нарисовал».

Все так же приподнявшись на локтях, мужчина молчал, нервно перебирая галькой в руках. Друг с облегчением почувствовал, что у него уже не так кружится голова и темень

обретает привычность очертаний. Он покосился на женщину. Обхватив руками колени, та сидела в десятке шагов от них и совершенно не двигалась. Круглая и безразличная, луна смотрела на него холодным ровным светом, в котором жизни было не больше, чем в склепах. Наверно, это и есть последняя правда, думал он, не сводя глаз с луны и слушая, как миг за мигом, плавно, но стремительно в его груди раздвигается неизмеримая глубина пульсирующего провала, в котором тщетно ищет опору его опрокинутая душа. Правда о бездне, разделяющей мглу и солнце, равнодушие и суету, покой и надежду. Разделяющей смысл жизни и саму жизнь. Он остро ощущал сейчас свою неприкаянность в обществе тех, кто, без сомнения, неподвижному взгляду луны предпочел бы стихию потока. «Не знаю, – размышлял он про себя, – ума не приложу, что сможет дать мне утро, чтобы уговорить на обман. Что заставляет пса тосковать по ошейнику?»

– Лучше начать с другого, – произнес он вслух в пустоту – голосом, пустотой рожденным. – Тебе будет лучше начать с шалаша.

Вместо ответа мужчина издал горлом сдавленный звук, а женщина медленно повернула в их сторону голову. Потом она поднялась и бесшумно пошла в темноту. Костер догорал. Пламя затравленно дергалось и чахоточно всхлипывало на беспокойном ветру. Друг сменил позу, перевернулся на здоровый бок и, чуть прикрыв глаза, принял вид, будто заснул. Он знал, что мужчина ему не поверил. Спустя несколько минут он услышал, как тот, окончательно разозлившись, пнул ногой подвешенный на прут горшок, выплеснув из него зловонную жижу, вскочил на ноги и зашагал в том направлении, куда скрылась женщина. Чтобы не слышать запаха испускавшего дух костра, друг уткнулся носом в излом локтя и, прежде чем заснуть, нехорошо улыбнулся.

XI

Ему приснилось, что он слеп. Краски сменили кожу и теперь плавилась перед ним подвижными расплывами теней. Пытаясь убрать наваждение, он захотел помолиться, но не сразу отыскал небо, свернутое в пелену на самой обочине сна – там, куда приблизиться даже мыслью было невмозможу: глаза начинало жечь едким маревом из невидимой глубины. Он постарался увидеть себя – свои руки, одежду или хотя бы честный обрубок тени, – но на том месте, где он дышал, было пусто и прело, как под осенней листвой, а потому различить себя он так и не смог. «Должно быть, я исчез», – подумал он и почувствовал, как сильный ветер влетел в него крепким снежком и, угодив прямо в горло, застопорил дыхание. Краски вспыхнули белым пожаром, мгновенно сгорели и тут же исчезли из сна, оставив после себя лишь толстый багровый след поперек его мыслей. Потом сделалось тихо и слышно, словно в норе, и, если бы не ощущение тревоги внутри, слепота показалась бы ему даже уместной. Лишенный зрения, он пробежался руками по клейкому дну кошмара, потом, униженный равнодушием тишины, собрал руки и спрятал их под себя. Потом он куда-то растаял, а когда снова заплыл в эту длинную мглу, вдруг подумал: «Теперь я знаю больше, чем всегда». В лицо ему дышала паутина, смахнуть которую он не решался, потому что не хотел никому – ни тьме, ни ее копошащимся образам – показывать свои руки. В них крылась причина его слепоты. В них – и в плотно сжатых губах, помнивших какое-то слово. Кто-то прополз рядом с ним, задев его волосы, но он даже не вздрогнул. Я пропал, снова подумал он. Все кругом уходит в ночь, а ты ждешь, когда перестанет дождь и можно будет взяться за поиски себя самого.

Где-то неподалеку прошмыгнули чьи-то шаги и зачавкали копыта. Он нахмурился, пошарил памятью по своему телу и вспомнил про плечо. Услышал, как в нем дышит жаром прожорливая дыра. Вслед за тем отчего-то вспомнил вкус кнутовища на своих зубах и провел языком по иссохшим губам. В кровавой мгле вдруг назойливо и неотвратимо запахло женщиной и ее взглядом, от которого он чуть не застонал, но тут же, опомнившись, стих, чтобы не подпускать ближе ее глаза. Потом почувствовал, как паутинка отчаянно задрожала, натянувшись струной и липко порвалась, а на лоб ему лег мокрой рукой остужающий холод.

– Ты права, – раздался голос, который он так хорошо когда-то знал. – Нужно сбить жар. Если к утру не оправится, придется ехать дальше.

– Или назад, – сказала женщина – сказала так, что в ее словах он легко распознал издевку.

Голос замер, потом, посопев, вздохнул и произнес:

– К утру оправится. По всему видать. Вон как задыхал – ровно медведь в берлоге.

«Мне надобно открыть глаза, – подумал он. – Иначе они не дознаются, что я принял в себя его слепоту. Будто уже и напрочь забыли, что я не просто беглец или сторож их черных ночей. Раньше всего я убийца». Он замер, ушел в себя и постарался представить воочию, как на его зрачках растут серые ядрышки мути, потом слегка дрогнул веками, чтобы ощутить под ними плотные дробинки слепоты. На него снизошел гордый покой человека, только что доказавшего всем свою правоту.

– Ну вот, – сказала женщина. – Теперь выдюжит. Взгляни на скулы. Надул их с детские коленки.

– Я голоден, – сказал мужчина. – Я должен что-то съесть. Пока он спит, я околею. Если ты сейчас же меня не накормишь, я съем его коня.

Она тихонько засмеялась и сказала:

– Я накормлю тебя...

Ночь чуть потерялась их телами о его сон и, глубоко вздохнув, нырнула в его податливую мякоть...

XII

Яйцо зарыли на плоскогорье, там, где земля была твердой и прочной, как камень, но, стоило расковырять, наливалась зычной чернотой и начинала пахнуть парным молоком. Они выбрали участок шагах в двухстах от шалаша, сверяясь по солнцу, ветру, жесткой упругости склона и собственному чутью. Как раз на этот пяточок земли и падали первые лучи пришедшего в ущелье утра, а на исходе заката, отметившись здесь последней поволокой, ускользали за хребет, чтобы с рассветом вернуться сюда опять и ощупать прозрачными пальцами облюбованную пядь земли. Всю неделю мужчины лазали по горам и склону, подбирая большие и круглые, как черепа, гольши, которые должны были пойти на фундамент. Женщина внимательно наблюдала издали за их трудами, а затем, с наступлением сумерек, взбиралась наверх, робко подходила к крошечному холмику земли, уже покрытой здоровой влагой лени, трогала его ладонями и молилась. Уставшее от ожидания сердце гулко отвечало на ее торопливый шепот и шумным, перебивчатым волнением подсказывало удачу. Потом женщина спускалась обратно, к хижине, чтобы накормить умывшихся мужчин скудным ужином и, глядя в глаза одному из них, безмолвно объяснить ему, что предчувствие ее не обманет. Там она и зачнет от него первого сына: земля уже стала дышать, она слышала это руками.

Спустя семь дней, дождавшись полудня, мужчины переглянулись и, кивнув ей, пошли по склону вверх. Помолвившись, друг вопросительно взглянул на напарника. Тот опустился на колени, осторожно наклонил бурдюк и вылил несколько капель воды на холм. Потом достал из ножен кинжал, взрыхлил почву вокруг, отложил кинжал в сторону и стал разгребать землю. Еще прежде, чем они его увидели, друг понял, что они не ошиблись. Только обрадоваться этому все же не смог.

– Слава богам, – произнес мужчина. От напряжения он весь вспотел, но, казалось, не замечает этого. – Все равно как кобылица во время течки. Смотри.

Он вытащил серый овал яйца и протянул его другу. Тот отрицательно помотал головой и, так и не подложив рук, произнес:

– Стало быть, место для первого камня выбрано. Осталось решить, какими будут длина с шириной.

– Мелочиться не нужно, – ответил мужчина. – Хотя и особо размахиваться тоже ни к чему, а то от одной только мысли, что надо в другой конец хадзара пройти, заранее уморишься.

Он улыбнулся. Ему хотелось смеяться, месить руками волну, бежать, сделать что-то большое и громкое, похожее на счастье, но ему мешало присутствие второго.

– По мне, – сказал друг, тщательно выговаривая слова, – уже довольно будет, коли бурка моя без складок развернется да рядом с нею кинжал уместится.

Мужчина вмиг помрачнел и сказал:

– Не могилу все-таки выбираешь.

Иногда он чувствовал себя особенно виноватым, и тогда ему казалось, что дружба – худшее из испытаний. В ней постоянно преданность мешалась с досадой от невозможности предать.

– Сколько бы ты ни запросил, полдома – твои, – сказал он глухо, сквозь зубы, а про себя подумал: чего ему еще? Не могу же я променять свою кровь на свою вину. Мне нужен этот дом, чтобы пустить здесь корни. И потом, он ведь сам на том настоял... – Ты отказался от шалаша, и я не перечил. Теперь ты отказываешься от того, чтобы стать ей братом. Так понимать?

Друг отвернулся, пожал плечами. Так и не поворотив к нему лица, ответил:

– Лисе нора нужна, а улитке и раковины хватает, только и всего. Ладно, не бери в голову. Лучше скажи, когда копать начнем?

Они начали в тот же день. Сделав разметку и обложив колышками углы, они взялись за работу. К вечеру они раскопали ровные желоба под две стены и почти напрочь забыли про давешнюю перепалку. Разрумянившись от трудов, они стали похожи на двух здоровых юнцов, за плечами которых не было ничего, кроме беззаботного чистого неба. Встретив их возвращение, женщина вдруг поняла, что выпала из их слов и мыслей на целый радостный день и что теперь ей предстоит покорно ждать, пока один из них не удосужится над нею смиростивиться и заново прозреть лицом. Это была ревность, справедливая, но унижительная, отчего женщине сделалось тесно и противно в себе самой. В такие минуты она с горечью думала, что недостойна быть его женой, и всячески старалась выказать приятие их дружбы, безжалостно пользувавшейся правом своего первородства. «Я недостойна его, – внушала она себе свою робость, чтобы разбудить в сердце стыд. – Так нельзя. Я должна научиться терпеть. Ради него, ради себя и ради ребенка.»

Погода держалась такая, словно небо решило навеки избавиться от всего, что не укладывалось в синеву – не только от лиловой грязи туч, но даже от облачных белых лохмотьев. Когда они лежали, отдыхая, на спине и боролись с подступавшей дремотой, им представлялось порой, будто весь их отвесный мир, покуда хватало глаз, превращался в хрупкую береговую насыпь, ребристую кромку у едва колеблющейся громады непорочного воздушного океана, куда никому из них не суждено подобраться. Разве что женщине, думал друг. Да нет, ей тоже вряд ли. Хотя кто ее разберет...

Стены росли быстро и споро, будто торопили сами себя поспеть к сентябрю. Если бы не вынужденные отлучки, когда им приходилось, борясь с течением, преодолевать бурный поток и злополуку, дабы поохотиться в дальнем лесу, дом был бы готов даже раньше. По просьбе женщины они заложили еще четыре запруды вдоль русла, и теперь она часто уходила туда, захватив с собою острогу и уповая на везение, чтобы дожидаться, когда в один из этих каменных мешков занесет течением злую форель. Она училась рыбачить. Но не только: еще она училась терпеть.

Когда со стенами было покончено, они нарыли побольше прибрежной глины и тщательно смазали ею пол.

– Теперь нам нужен дождь, – сказал мужчина и уже ночью услышал, как по ветвистой крыше шалаша шуршит и стелется обильная вода.

Наутро в доме, на таком ровном с виду полу, не оказалось ни единой лужи, и мужчины удовлетворенно заулыбались: выходит, все было сделано правильно, и скат получился что надо. По всему явствовало – пора браться за крышу.

– Крыша – это не штука, – говорил друг, строгая заточенным камнем кряжистый ствол сосны, срубленной у подножья скалы. – Штука будет другое: выстроить мост.

– Дело, конечно, серьезное, – соглашался мужчина, взволнованно поводя плечом. – Только и не настолько хитрое, чтобы вдвоем не осилить. Не хитрее того, что уже позади.

Он был рад, что друг завел речь про мост. Это значило, что он все еще хочет быть другом. В самом деле, случалось, мужчина крепко задумывался над тем, как это странно, что за ними тремя не следит ни один человеческий глаз. Поверить в это было так же трудно, как и в то, что огромная эта земля совершенно бесплодна и не обременена созревшей невесомостью хотя бы единственного колоска. «Когда-нибудь, – думал он, – быть может, не слишком скоро, но когда-нибудь время подскажет нам выход. Мы еще будем смахивать крошки на землю и кормить ими воробьев».

Пару раз в месяц в их отношения, затаившись, вмешивалась беда: глаза второго наливались горячей мглой, а мужчина пытался этого не замечать, но быстро понял, что куда полезнее постараться вызвать его на разговор. Правда, было это труднее, чем убедить себя в такие минуты в том, что он, друг, ему по-прежнему нужен и дорог. Удивительно, но в те вечера, когда тот упорно предпочитал хранить немоту, мужчине почему-то казалось, что ее, женщину, он

не любит тоже, и тогда сам он замыкался молчанием, размышляя о том, что делался младшим в их дружбе – союзе без передышки и без исхода, который на поверку оказывался крепче обиды или любви. Впрочем, возможно, это было не так. Возможно, то была лишь отсрочка. «Пропади все пропадом, – говорил он себе. – Дьявол бы их побрал. А лучше – меня самого...» В густой, почти кромешной тьме он уходил из шалаша, испытывая к себе неподдельное отвращение, мочился на сердитые угли костра, потом шел к коню и, не надев седла, запрыгивал на круп. Ухватившись железными пальцами за сухую, жесткую гриву, принимался пинать его пятками в бока, пока не заставлял пуститься галопом по черной пустыне ночи. Конь дико всхрапывал и, обезумев от страха и скачки, несясь стремглав навстречу горькому ветру. Пьянея от бешеной гонки с судьбой, они успевали услышать, как позади, в покинутой ими дали, захлебывается ржанием и мечется вокруг коновязи жеребец друга. «Она войдет в меня громом», – радостно думал мужчина, наслаждаясь полетом опасности еще полнее, еще безграничнее, чем когда-либо – женскими ласками.

Доскакав до изножья хребта, они поворачивали обратно. Тело животного покрывалось пенными хлопьями и при слабом свете луны зловеще блестело. В висках у мужчины стучало. Убедившись, что тягаться с судьбой на земле совершенно бессмысленно, он осаживал задыхающегося коня, укрощал его шаг, а потом, грубо дернув за гриву, устремлял к реке, где долго смотрел на толстую, в ночных сугробах, воду и слушал ее звериную песнь. Она влекла к себе, кружа ему голову масляным вихрем бесконечного, напрасного, тщеславного движения.

Иногда мрачность друга не запиралась в оскорбительном молчании, а, не сумев устоять перед упрямой терпимостью того, с кого начинался и кем ограничивался теперь для него весь круг мужского братства, изливалась в долгий разговор, в котором слова значили меньше того, что за ними стояло, и потому такой разговор обладал куда большим смыслом, нежели просто беседа, заправленная постной начинкой из слов. Их дружбе, терзаемой одиночеством и любовью, требовался роздых, чтобы набраться новых сил и очиститься от раздражения и подозрительности, исподволь отравлявших им дни. А для того нужно было на время заслониться от настоящего, умалявшего, вопреки возводимым стенам, их единство и заставлявшего думать, что каждый новый гольш в стене являл собой не умножение их общей решимости достойно встретить удел, а, скорее, воплощал в себе быстро растущую преграду взаимного отречения. И чтобы преодолеть это настоящее, а тем паче оправдать предвкушение грядущего, надобно было сообща совершить то, что в одиночку каждому из них сделать было не под силу: им нужно было выйти в прошлое и побродить в уютной его доброте. Погружаясь вдвоем в общую заводь воспоминаний, они становились сильнее, как если бы объявшие их воды обладали даром исцеления, и внезапно то, что было мукой для каждого в отдельности, превращалось для них двоих в цепочку блистательных приключений, пройдя через которые, они опять обретали сладкий покой смирения, возвратив себе самый вкус и восторг своей дружбы – ощущение беззаветной взаимной преданности. И тогда уже было проще обращаться памятью в то, что составляло их безумное вчера, воссоздавать в воображении подцвеченные вдохновением картины похищения, бегства и погони, скрываясь от которой, они тогда словно выскользнули из времени, разорвав его постепенность, и теперь, вспоминая те дни, нащупывали на самом доньшке сознания только беспорядочные обрывки видений: расколотую пулей ветку, хлестнувшую по лицу, визг чьей-то свиньи во взбудораженном кражей ауле, эхо копыт в горловине ущелья, спелую половину радуги, взошедшей из-за хребта одновременно с рассветом, жажду, забившую глотки ржавым песком, кровь, теплой змеей стекавшую в сумерках по черкеске, смену коней в полчаса, чтобы разделить поровну риск и тяжесть похищенной ноши, внезапное, как обвал, наступление ночи и крохи пугливого сна, разбросанные в беспорядке по углям костра, долгое, считающее повороты, молчание и узкие звериные тропы, обегавшие аулы по скалам, а потом – почти белую пыль на каменной груди незнакомого плоскогорья, что поначалу показалось им лишь непривычно широкой дорогой, куда они выбрались перед тем, как заблудиться в последний

раз, и, в конце концов, – громадную тишину, беременную вечностью, в которую они забрели, попав в окружение ночи...

Вспоминать вдвоем было просто. Прошлое покорялось и становилось легким, как шерсть, согревшая рану теплом. Но почти сразу после того, как мужчины прощались и расходились в разные стороны, рана опять начинала дышать. Любовь защищала от боли лучше, чем одиночество, но излечить ее была тоже бессильна. И по-прежнему, как все эти длинные месяцы, первое, чем распахивалось перед женщиной каждое новое утро, было его, мужчины, нервное пробуждение и стремительный прыжок за полог из шкур, чтобы проверить коней и понять, что их все еще трое. Ей оставалось уповать лишь на то, что с постройкой дома все, наконец, переменится...

ХІІІ

На охоте случалось всякое. В плохие дни лес не дарил ничего, кроме горсти лесных ягод и загадочного ощущения покоя, возникавшего каждый раз, как укрывшейся за деревьями чьей-то пушистой жизни удавалось избежать пули. Как ни странно, вместо злости или отчаяния это вызывало у охотника лишь почтительное удивление да неподдельное уважение к тайнам, ответ на которые ведом был только богам.

Воистину лес был велик и громаден. И полон звуков, в которых можно было уловить то хлопанье крыльев, то шелест листвы, журчанье ручья, зевок ветра, фыркание чутких ноздрей, шорох лап, хруст вспугнутых зарослей, капельки света, пролившиеся белым соком сквозь кряжистые руки крон, то ровный сон теней, то хрумканье маленьких острых зубов, а то и рев почувшего беду крупного зверя. Здесь пахло дождями и солнцем, сыростью с кровью, порой – падалью и тревогой, но никогда – костром. А потому каждый выстрел, обжегший порохом воздух, приводил этот стройный и девственный мир в смятение. Лес становился враждебным и отвечал то неистовым шумом, то пронизывавшей до мозга костей тишиной. Если бы не врожденное чувство упрямого и гордого противления всему, что сберегала для себя самой природа, человек острее бы ощущал нелепую подлость своего здесь присутствия. Не случайно, едва удавалось кого-нибудь подстрелить – в движениях его проступала постыдная спешка. Второпях он комкал молитву, свеживал тушу и поскорее стремился выбраться к берегу, чтобы выйти из хмурых пределов им поруганного безмолвия.

Но в дни, когда охота не ладилась, человек, бывало, задерживался в лесу и, прикинув к шептавшей мудрость земле, благодарно внимал тому, как она вбирает в себя и утешает сумбурную речь его сердца. Он забывал про опасность. Тем временем лес ему мстил...

Как-то раз, ближе к осени, жребий выпал на друга. Благополучно перебравшись через реку и чуть передохнув, покуда с одежды стекала вода, он зарядил ружье и, бережно завязав тесьмой мешочек с порохом, отправился в глубь леса. Сегодня он решил попытать счастья на южной окраине, примыкавшей к ближней горе редкой опушкой, перед которой внезапно расступались густые заросли. Добраться туда можно было часа за три, если идти не слишком быстро, вглядываясь в чащобу в поисках добычи.

Пока он преодолевал этот путь, ему встретилась маленькая косуля, вынырнувшая сперва из-за широченного ствола лиственницы, а потом каким-то чудом – и из-под его выстрела, хоть бил он в нее всего-то с нескольких шагов. Пройдя с половину расстояния, он извел вторую пулю на мелькнувшую в зарослях тень, так, признаться, и не разобрав, кто там прятался. Услышав плоский щелчок, он понял, что промахнулся. Тщетно провозившись в поисках дерева, в котором застряла пуля, лишь сильно исцарапавшись и здорово устав, он рассудил, что такое начало не предвещает ничего хорошего. Несмотря на прозвучавшие выстрелы, в лесу было на удивление тихо, и даже обычный гомон птиц быстро сошел на нет.

Вскоре он добрался до холма, которым бугристо вспучивалась земля перед тем, как снова, но уже с противоположной стороны, скатиться вниз и после уж только покорно стелиться хвойным ковром до самой опушки. Стало быть, до скалы оставалось не более часа. Вокруг царил такой покой, что, едва он сел перевести дух, у него смежились веки.

Нет, он не спал. Расслабив мышцы и сердце, он наслаждался глубокой первозданной тишиной так, будто встретился с ней впервые. В том, чтобы сидеть вот здесь, в прохладной полутьме, под свежим исподом горячего дня, был некий смысл, постигать который мелкой назойливой мыслью не возникало желания. Время шло, но – странным шагом. В нем не было присущего упорства и непререкаемой заданности навеки установленного хода. Оно гуляло беспечным ветерком по тяжелому тучному лесу и, словно раздевшись донага, стало совершенно прозрачным, по-детски невинным, как будто весь его непосильный злопамятный скарб из гре-

хов человека оказался притворством. Прислонившись к пахучей сосновой коре, он размышлял о том, что сознает себя сейчас как бы разом и полностью, словно все личины его я, столь непохожие друг на друга, соединились в некую плотную целостность, единый портрет, примкнув без потерь, как клочья порванного листа, зазубренными краями границ к точному слепку своей перевернутой тени. «Это как зеркало, – думал он. – По справедливости, надобно прежде одолжиться его всестерпением, чтобы нехитрый разумом юноша ужился рядом с убийцей, которому всё всё равно. Я и не заметил, как им удалось уместиться в одном теле и вровень дышать общим воздухом. Во мне не осталось ни скорби, ни совести, – невзирая на ружье в моих руках и ясную память о том, как я им убил человека. Мне не больно и пусто. Жизнь моя словно отложена на потом, только ждать ее скучно и лень. Я просто сижу, как в гостях у собственной смерти, и ни о чем не жалею...»

Приди ему сейчас на ум мысль о каре или покаянии, его бы возмутила ее лживая благопристойность. «Я есть, – сказал он сам себе, – и я есть я...» Он знал, что это конец, потому что дальше не было ничего, дальше стерпеть любую тропу, любую дорогу, любой поворот или ухаб ее было так просто, что вовсе немыслимо, как и прозреть снова разницу между добром и злом. Странно, что я не сделал этого раньше, – подумал он, – когда я так мучился. Хотя нет: тогда я верил в грех. Нынче я отложен в такую даль, что мне она уже безразлична. Нынче я принадлежу только себе и лесу. На все остальное мне наплевать.

Опустив руку, но не глаза, он пошарил в траве и потянул за тесьму мешка с порохом. Когда она распустилась, осторожно обвязал ее вокруг курка, установил ружье так, чтобы дуло смотрело ему в переносицу, потом переложил его в левую руку, а правой взял за конец тесьмы и, подтянув к груди ногу, сунул ступню в образовавшуюся петлю. Дыхание было ровным и сильным, как у встающей волны, и он успел подумать: «Навсегда – значит то же, что и – никогда больше...» Мысль показалась ему очень удачной. С ней можно было уйти.

Он надавил на веревку ступней, и его темя срезало, как ножом, обдав лицо огнем и пороховой гарью. Последнее, что он успел ощутить, была горячая, быстрая кровь, хлынувшая из его лопнувшей головы и заливавшая ему глаза легким веселым дождем. Потом он почувствовал, что его душа – маленький юркий комочек в груди с тонким голосом – закрутилась буравчиком в вихрь и, кусая за глотку, забились в нем громкой обидой, затем, взорвавшись звездой, брызнула ввысь, остужая себя полетом, и вырвалась на свободу. Только тут он обрел безбрежный простор последнего своего безразличия. Это было блаженство. Лес, наконец, пробудился и закричал, зашумел ветвями, забился крыльями и задрожал, но его уже это не трогало. И даже когда из чащи в трехстах шагах от него вышел понурый кабан и, поведя по ветру мордой, озадаченно всхрюкнул, почесал землю копытом и направился на запах крови, его тело лежало, оглохнув, и держалось мертвой рукой за дуло винтовки. Кабан затрусил быстрее, подминая кусты, но, завидев бездыханного человека, остановился и опасливо кивнул клыкастой головой, словно соблюдая обряд почтительного знакомства с тем, кого время от времени встречал по запаху и следам вот уже несколько месяцев. Не сводя тупых зрачков с его лица, замер, ожидая ответа, потом неровно, дугой, двинулся к испачканному красным дереву. Подойдя сбоку к неподвижному телу, он снова хрюкнул, и с морды его на кисть человеку капнула вязко слюна. Кабан хрюкнул опять, но уже торжествуя, и ткнулся клыком телу в грудь. Потом опустил морду к лицу и вдруг отпрянул, задрожав. Что-то его насторожило. Что-то неуловимое, как неизвестно откуда подступающая беда.

Голод был сильнее, а потому кабан не поверил. Запах крови и самый вид ее дразнил его свиньи ноздри. Ударив для пушей решимости копытом, он бросился к телу опять.

Даже почувствовав, что оно оживает, кабан не остановился, потому что жизни в человеке было не больше, чем в каком-нибудь грызуне. Поднявшаяся рука так его разозлила, что он второпях, захмелев от свирепости, не рассчитал прыжка и только отхватил зубами какую-то мелочь. Наступив передними ногами человеку на грудь, он увидел, как широко распахнулись

веки, и почти тут же острый железный палец больно впился ему в самый пах – так, что кабан взвился, уронив с человека копыта, а тот уже поднимался во весь рост – громкий, высокий, кровавый призрак расплаты. Схватив ружье и потрясая им, как дубиной, человек пошел вперед, яростно молотя вокруг себя воздух и заставляя хрюка испуганно пятиться. От него запахло новой кровью, так что зверь, доведенный ею до безумия, внезапно встал и, оскалив клыки, ринулся в бой.

Удар пришелся прямо по холке, подкосив прыжок, так что свалить врага с ног и подмять под себя его руки кабану не удалось. Восстав из мертвых, тот неистово молотил его прикладом по голове. Шкура на морде у кабана треснула и повисла. Пятак был разбит, и теперь он не слышал запахов, как, впрочем, и собственного хребта. Кабан стоял, не в силах броситься в атаку или отступить, и шатался под градом ударов, пока не рухнул, словно подкошенный, под ноги прикончившей его ненависти. С ней не могло сравниться ничто в этом лесу – ни голодная жажда крови, ни гнев звериного поединка. Беспомощно подрыгав ногами, кабан затих, отворив противную дряблую пасть, а человек все не унимался, колотил по ней расколотым прикладом, пока не обессилел и не упал рядом, беззвучно рыдая сладкими от крови слезами.

Потом им овладел лихорадочный страх. Побродив в тихих улочках смерти, теперь он вернулся, отринутый ею, обманутый, туда, где очень хотелось жить. Плохо соображая, зачем он это делает, человек оглядел свою правую руку, чтобы выяснить, откуда в ней такая боль, и увидел, что на кисти не хватает двух пальцев. Он пополз к дереву с грязным от крови стволом, подобрал валявшийся рядом мешочек с порохом, растворил его и сунул руку внутрь, потом долго что-то припоминал, пока не вспомнил, а вспомнив, потянулся второй рукой к голове.

Похоже, череп был цел, но посреди него, вдоль темени, пролегла голая полоса, лишенная волос и кожи. Кровь слегка запеклась, но, стоило ему лишь тронуть хрупкую корку, хлынула снова. Тогда он осторожно, расплываясь взглядом, достал из мешочка щепотку пороха и посыпал им рану на голове. Немного посидел с закрытыми глазами, пытаясь унять головокружение, пошарил по черкеске и достал из-за пазухи огниво. Потом выбил искру на щепу из расколотого приклада и, поднеся чуть живое пламя к пострадавшей руке, погрузился в беспамятство.

Когда он снова пришел в себя, первое, чем он занялся, была повязка, которую он справил из разорванного подола черкески. Наложив ее на обугленную рану, он попытался заснуть, но от жажды не мог уже просто лежать, отдыхая в густеющей тени. Как ни было противно, а иного выхода он не нашел. Пришлось, опять ползком, двинуться туда, где валялась уже облепленная мошкаркой кабанья туша. Повернув ее набок, он достал нож, провел рукой по тугому брюху и вонзил лезвие туда, где должно было остывать кабанье сердце. Подставив ладонь и отвернувшись в сторону, он подождал, пока ладонь наполнится, и медленно поднес руку к лицу. Его замутило, но он приказал себе вытерпеть и, давясь, сделал пару глотков крови, которой сам потерял слишком много, чтобы суметь сейчас встать и идти. Потом он снова ушел в никуда, провалился в колодец и долго падал, пока не очутился в реке. Она понесла его дальше, мимо отчего дома, пьющих коней и белых склепов. Потом изрыгнула его в студеную заводь, у которой прятался в зарослях старый вепрь, и тут он понял, что опять испугался, а значит очень хочет жить.

Очнувшись, он увидел, что свет из леса почти ушел, стало быть, над горами спускались сумерки. «Тот должен сюда прийти, – подумал он. – Только вот как он меня обнаружит?..» Он догадался разжечь костер, но собрать ползком достаточно хворосту было ему не под силу. Если тот, кого он ждал, уже в лесу, хватит и небольшого огня. Снова взявшись за нож, он стал срезать с туши полоски обросшей волосом шкуры. «Есть еще вонь, – думал он, неловко орудуя лезвием. – Ее он услышит...»

Когда крохотное пламя робко лизнуло щепки, перекинулось на скудное дерево, а потом занялось, он бросил в него ошметок шкуры. Запах был и в самом деле такой, что, если б

и не сумел раздражить издали обоняние человека, то уж наверняка отпугнул бы любого зверя.

Так он встретил ночь.

Наутро тот его отыскал. Друг сидел, спиной прислонившись к дереву, и даже не вздрогнул зрачками, когда его увидал, словно все это – растаявшая мгла, подкравшийся рассвет, щебет птиц, хруст ломаемых веток и приближение человека – происходило у него на глазах в тысячный раз в одной и той же цепенеющей последовательности. Мужчина решил было поначалу, что опоздал. В грязно-желтом лице не было ни кровинки, а цвет кожи на лбу был, как у обглоданной кости. Сложив на груди руки, друг безмолвно следил за ним плавным взглядом. Посреди слипшихся кровью волос пролегла черная борозда, пугающая и непонятная. При виде ее любые попытки мужчины вернуть его в мир простых, немудреных звуков казались попросту несуразными.

Сев перед ним на колени, мужчина быстро заговорил, укрываясь словесной преградой от безмятежных внимательных глаз. Ощупав обмякшее тело и не найдя на нем серьезных ран, он постарался расцепить руки и только тут заметил, что одна из них толсто обмотана тряпкой и сильно пахнет порохом.

– Не трогай, – приказал друг, – не надо. Лучше дай мне воды.

Мужчина радостно зашепел, суетясь руками, и пролил ему воду на грудь. Тот пил, медленно двигая кадыком, и не сводил со второго спокойного прочного взгляда. Потом приподнял веки, давая понять, что напился, и сосредоточенно задышал. Поняв, куда смотрит мужчина, пояснил, едва шевеля губами:

– Клыком пропорол. Едва увернулся. А черный – оттого, что порохом присыпал.

– И лицо? Сдается мне, его ты не только присыпал, но и спалил.

Вместо ответа тот поднял правую руку, подержал ее на весу, потом уронил и сказал:

– Пришлось прижигать. Пальцы оттяпал. Я стрельнул в него, но промазал. Вон там, повыше, над головой... Видишь пулю в стволе?

Мужчина встал и склонился над бурным пятном, потом отыскал в коре неглубокую ямку и, сглотнув сухую слюну, кивнул.

– Повалил меня с ног... Здоровый попался, как... Да ты сам на него посмотри. Этаким боров.

Он засмеялся. Сперва мужчина подумал, что тому просто не хватает дыхания или что он подавился воздушным шаром, но тут же в изумлении увидел, как плечи его затряслись и по лицу гусеницей поползла улыбка.

– Знаешь, что в этом самое главное? – спросил друг, когда смех, заикаясь, откашлялся, и он снова смог говорить.

– В чем – в этом? – попробовал уточнить мужчина, беспокойно нахмурившись.

– Самое главное, – продолжал друг, не обращая внимания на вопрос, – посильней испугаться...

Мужчина подождал, что за этим последует, но, поняв, что то был конец, пожал плечами. Продравшись круглым телом сквозь верхушки деревьев, на живот раненому упало отекавшее солнце, спростонья уютно свернулось в желтый калач. Друг прикрыл глаза и сунул под голову солнцу свою замотанную кисть, а мужчина подумал: «Теперь он будет спать. С тех пор, как он стал похитителем и беглецом, я только и делаю, что охраняю его сон, блуждающий между жизнью и смертью, покуда я гляжу ему в лицо и силюсь его узнать».

Он неслышно отошел в сторонку и поднял ружье, от которого остались лишь дуло, замок да деревянный осколок приклада. Несколько минут он изучал содержимое мешочка с порохом, недовольно качая головой. Снова найдя в стволе крохотную вмятину, он аккуратно отколупнул кору вокруг, расщепил мешавшую древесину и, подцепив лезвием кинжала блестящий слюдой коготок, вытащил сплюснутую пулю. Потом подошел к огромной туше и внимательно

ее осмотрел. Разумно рассудив, что на обратный путь у них уйдет никак не меньше шести часов, он понял, что разделять добычу бессмысленно: возвратиться за ней сегодня он ни за что не успеет, а стало быть, мясо так и так пропадет. Тогда он развел костер, нарезал сочных прутьев и нанизал на них кубиками нежное мясо с кабаньей спины. Ноздри защекотало терпким запахом, и он поразился тому, что шашлык выйдет на славу. Сидя на корточках и медленно поворачивая над костром запотевшие прутья веток, он размышлял о том, что их все еще трое, и думал, как это здорово и хорошо. Но почему-то – то ли от дыма, щиплющего глаза, то ли по причине чрезмерной усталости, усугублявшейся мыслью о предстоящем пути, – настроение у него было такое, будто он что-то потерял и заметит это позднее. «В этом лесу слишком много чертей», – сказал он сам себе и плеснул водой на угли. Мысли его, однако, были совсем не о лесе...

XIV

С приходом чужака многое изменилось. Дело было не только в порохе, инструментах, скарбе и семенах, которые он с собою привез. С его приходом каждый из них ощутил, как в эту странную, непрочную, языческую жизнь вмешалась грозная небесная десница. Он дал это понять им первым днем.

Увидев поутру, как он идет, умывшись, мимо дома от берега к горе, женщина почувствовала неладное. В его размеренной твердой походке, прямой посадке спины и чуть вздернутом подбородке было нечто настолько необъяснимо-нездешнее, что впервые за все эти жутко-счастливые месяцы мир вокруг показался ей мельче и ближе. Почти не шевеля руками и не пригибаясь к земле даже во время подъема, он шел по скале, направляясь к вершине, и когда терялся среди камней, можно было с точностью до удара собственного сердца рассчитать миг его появления на следующем ярусе горной гряды. «Он накличет несчастье», – снова подумала женщина, прислушиваясь к нараставшей тревоге в пустоте своего чрева.

– Отказался, – промолвил вошедший мужчина и легонько пнул ногой мешок у стены. – Я предложил ему пойти туда вместе, но он ответил, что ни к чему. Привык, мол, сам бродить по скалам. Так и сказал: бродить, словно это ему прогулка какая... Хотя нам до того и дела нет. Поняла?

Он произнес это громче, чем требовалось. Женщина вздрогнула и послушно опустила глаза. Мужчине стало неловко за прозвучавшую грубость. Чуть помолчав, он добавил:

– А насчет воска ты права. Вроде и в самом деле – будто он себе и отец, и прадед, и брат, а сестра ему – свечка у гроба... Да и взгляд у него...

«У него такой взгляд, – подумала женщина, – словно он несколько раз умирал, прежде чем сюда добраться». Вслух она ничего не сказала. Утром такое не говорят. Может быть, позже, ночью.

Весь день напролет мужчины жадно трудились, почти не отвлекаясь на разговоры. Сперва они оба, один за другим, переправились через реку, страхуясь тростниковой веревкой. За плечами у них теперь были подвязаны тесак и топор. Срубив громадную ель, они ошкурили ствол и принялись тщательно и любовно строгать. Пахло дерево восхитительно: какой-то искренней чистотой и сладким, свежим теплом. Наслаждаясь работой, они не тратились на слова. Куда лучше было думать про будущий мост или урожай, который они соберут по весне. Или о том, что он, чужак, здесь не задержится тоже. Была в нем какая-то особая неприкаянность, с которой на одном месте долго не живут. Ее лишь переносят от аула к аулу, от ущелья к ущелью, из юности в старость в напрасной попытке найти ей приют, пока где-нибудь на пустынной дороге не оступятся последним падением. Странно, но его приход сюда заставил их осознать ценность построенных стен и ощутить острее пленительную неприхотливость своего почти что дикарского бытия. Конечно, каждый из них и прежде отдавал себе отчет в том, что рано или поздно потревоженный призрак забытой тропы приведет к их огню кого-то еще. Но облик того, кто вчера к ним пожаловал, никак не вязался с теми образами, что рисовало им их воображение. Особенно воображение того, кто грезил поскорей разделаться со своим одиночеством, а на поверку повстречал одиночество, в сравнении с которым его собственное было не более чем затянувшееся ожидание.

Сумерки спустились быстро, как по льду. Едва успев обернуться до их наступления и греясь в доме у жарко натопленного очага, мужчины невольно считали, как далеко можно забраться в горы, если «бродить» по ним целый октябрьский день да еще и весь вечер в придачу. Подняв увечную пясть, друг повертел ею у себя перед носом, потом приложил к рубцу указательный палец левой руки и сказал:

– Из трех так запросто четыре не вылепишь. Гляди.

Мужчина понял и ухмыльнулся. Тем временем друг растопырил трехпалую кисть и, снова поднеся к ней указательный палец здоровой руки, быстро свернул перед ним кукиш:

– Пусть знает, на что его упрямство напорется... Не гость и не сосед – это верно. Коли так, как бы за врага в темноте не приняли.

– Брось, – мягко ответил мужчина. – Раньше времени не горячись.

А сам подумал: сейчас он войдет в дверной проем и, как ни в чем не бывало, усядется рядом. Не надо себя обманывать. Все мы знаем, что ничего с ним не случится.

Они услышали, как за стеной порвалась тьма и тут же заволновались кони. Лишь кобыла прищельца всхрапнула и радостно застучала подковой по земле. «Ну вот, – подумал мужчина, – он уже здесь».

Но был чужак не один. Еще сидя внутри, они это поняли по нахлынувшим звукам, однако, пока не убедились воочию, никто из них не поверил. Выскочив наружу, они увидели, как он идет, не торопясь, к хадзару, а у его ноги послушно трусит тень.

– Черт бы его побрал, – пробормотал ошалело друг. – Или мне все это снится, или я сам снюсь какому-то дураку.

– Нет, – возразил мужчина, – не снится. Хуже всего, что мне это не снится тоже...

– Черт бы его побрал, – повторил друг и крепко схватил за гриву своего играющего коня.

– Это даже не волк, – сказал мужчина. – Ты только погляди...

Они приблизились, и сомнений уже не осталось.

– Добрый вечер, – поздоровался чужак. – Уймите коней. По всему видать, пес спокойный.

На обратном пути прибился...

Потом вежливо добавил, разбавив их молчание:

– Места здесь у вас свободные... Красиво!

Поздно ночью мужчина проснулся и, услышав по настороженной тишине, что женщина тоже не спит, спросил:

– Как он назвал свое имя? Не помнишь?

– Такое не забывается, – ответила женщина. – Оно для него – все равно что радуга для лужи... Ацамаз⁶.

– Ацамаз? – повторил мужчина и, хмыкнув, надолго замолчал. Потом сказал: – Тут одной радуги будет мало. Оно для него все равно что весь свет, завернутый в горсточку праха. Коли он запоет, так весны нам лет сто не дожидаться... Если и живет в нем какая песня, так – погребальная.

Они услышали злобное рычание за стеной, и женщина крепче прижалась к мужчине. Полежав так с четверть часа, плотно обхватив друг друга руками, они внушали себе, что ничто и никогда не сумеет их разлучить.

– Прошу тебя, умоляю, – вдруг жарко зашептала она ему в ухо, – сделай так, чтобы он ушел. Если не из ущелья, так хотя бы из-под этой крыши... В нем столько холода, что у меня студит нутро. Уговори его уйти, а если не послушает, гони!

Когда муж заснул, она глядела в потолок огромными глазами и думала о том, что ему не хватит духу. Она знала, что ему не хватит духу вытолкать чужака взашей. Тот ему неподвластен. Как неподвластен ни страху, ни силе, ни просьбам, ни проклятьям, ни даже упрямству судьбы, сбегавшей от него еще прежде, чем он ступил на хребет и увидел их стены. Теперь она отчетливо поняла: неприютность его была совершенной и полной, как круглость луны. У него не было ничего, к чему он мог пусть ненадолго притулиться плечом: ни дружеской спины, ни прочных стен, ни звонкой памяти, ни слабенькой надежды, ни собственной судьбы, потому что и ей было с ним не ужиться, ведь и судьбе нужно убежище, чтобы взрасти, ей нужно какое-то русло. Для него такого русла не было, потому он и пошел к Проклятой реке. «Тогда я

⁶ Ацамаз — герой осетинского нартского эпоса, певец и музыкант, обладатель чудесной золотой свирели.

буду уповать на его милосердие, – решила женщина и свернулась клубком на краю их грубого ложа. – Я принесу ему в жертву свой сон и глаз не сомкну до тех пор, пока он над нами не сжадется...» Мужчина спал, уткнувшись в свой согнутый локоть, и был похож на крупного неумного ребенка. В целом доме было тепло и как-то пророчески тихо, а за его пределами шныряла вдоль реки проворная синева. Небо было низким, звездным, как перед жарким летним днем, и с любопытством вглядывалось в ночь мириадами юрких зрачков, ожидая какого-то крика. Однако внизу по-прежнему царила тишина, хрупкая, пугливая, как сердце...

XV

Первым делом он вынудил их вернуть имена. Теперь без них было не обойтись. Вспомнив собственное, отдохавшее от него без малого тридцать лет, он заставил их взамен призвать из прошлого свои. По крайней мере, два из них. Потому что отныне мужчин стало трое, а для троих уже было мало того, чего вполне хватало, покуда их было меньше на целого чужака – простых, как кивки, указаний на то, который из двух имелся в виду, когда двое других (включая женщину) говорили о нем или думали «он». Отныне «он» всегда означало больше, чем один, а потому – и меньше любого из них, взятого в отдельности, так что без имени могли теперь обходиться лишь двое: женщина да тощий черный пес, невесть откуда взявшийся в ущелье, где не было триста лет никаких имен и даже самая память о них была выскоблена ветрами, обглодана рекой и стерта онемевшим временем. В его появлении здесь ничего случайного они не увидели. Не только потому, что в присутствии чужака любая мысль о случайности казалась им нелепостью. Штука была еще в том, что с первых дней знакомства с обитателями этого странного бессобачьего мира пес проявил неумемную преданность как раз к тому, кто был похож на него, как дождь на воду, как бывает похож зов на эхо или, скажем, ступня на оставленный след. Повсюду сопровождая чужака и ни разу при том не удосужившись благодарного его внимания – трепки по холке, отрывистого свиста или вкусного щелчка ленивых добрых пальцев, – он мгновенно поджимался и свирепел, стоило кому-то другому шагнуть в его сторону, слишком приблизиться или неосторожно вознамериться пройти мимо. Не зная, *как* он здесь оказался, и зная, что никогда о том не узнает, тройка «старожилов» тем не менее понимала, *почему* это произошло: рискнув возвести стены посреди забытых смертей, они сами подготовили его появление. Так повелось, что всякому хадзару нужен страж – отгонять от ворот непрошенных гостей да не в меру назойливых духов. Впрочем, здесь это значило одно и то же (если, понятное дело, не причислять сюда же чужака, но только ведь он, по уговору, гостем не был). По уговору, чужак гостем не стал, а потому, глядя, как чахнет день ото дня та, с кем он делил в тревоге ложе, мужчина, наконец, решил, что дальше так нельзя.

– Пойду и скажу ему, – он словно бы ее предупреждал. – Утром я дам ему знать, что все решено.

– Которому из них? – уточнила женщина, хотя могла бы догадаться.

– Тотразу, – пояснил мужчина. – В конце концов, я старше...

Ударили холода, и строительство моста пришлось отложить. Входить в ледяную воду им было не привыкать, но вот выбираться затем на подернутый инеем берег было равносильно самоубийству. За эти месяцы у них скопилось кое-что из еды, чтобы переждать на берегу длинную зиму: погреб был на три четверти набит сухим вяленным мясом и копченой рыбой. Потеплу они даже успели засеять семенами пришельца возвышенность, откуда прежде пришлось им выполоть всю траву и очистить площадку от гальки.

Закутавшись в бурки, друзья смотрели за реку, туда, где желтыми вязанками лежали струганные доски.

– Постарайся понять, – убеждал мужчина, избегая глядеть другу в лицо, – бабьи глупости, я согласен. Только это ничего не меняет, потому что он не уйдет, а она не уймется.

– Выходит, он взял нас измором? – спросил друг и внезапно в приступе ярости швырнул камнем в воду (мгновенный глоток и за ним – ничего: ни следа. «Прожорливая тварь», – подумал он о реке).

– Он дал нам порох и семена, – напомнил мужчина. – И потом, больше он никуда не пойдет. Упорствовать тут ни к чему.

– Зачем он здесь? Чего он хочет? Ты знаешь? Я вот – нет.

– У нас нет выбора, – ответил мужчина. – Она не выдержит. Скоро посыпется снег, и тогда будет поздно. Начать мы должны сейчас.

– Стало быть, он взял нас измором, – упрямо повторил друг.

– Пусть так, – нетерпеливо кивнул мужчина. – Только он все равно никуда не уйдет. Это не гость. У нас в ауле соседей тоже не выбирали...

Серое, грузное небо дышало хриплым холодом им в лица. Лес вдали казался застывшей пеной непонятого грязного цвета. С тех пор, как друг убил прикладом кабана, жребий чаще выпадал на мужчину. Незадолго до приезда чужака он смастерил себе лук из гибкой ветви молодого бука, подвязав к нему тетиву из тонкого, почти прозрачного сухожилия подстреленной косули. Держать лук в руках почему-то было приятнее, чем ружье. Он был тугим, как живая плоть, и умел дышать ветром. Пустив стрелу, можно было следить за ее летящим жалом и получать удовольствие от того, как она вонзается в цель, не оскверняя ее никакой гнусностью – ни запахом паленой шерсти, ни свинцовым укусом металла. Так что в этой охоте из лука была не одна бережливость. Вчера он повесил его на крюк у входа в хадзар, а сейчас вспомнил о том с какой-то искренней жалостью. Зима еще не настала, а он уже томился по лесу.

– Хорошо, – сказал друг. – Только говорить ему будешь ты...

Мужчина вздохнул с облегчением и повернулся к нему, протянув свою кисть. Рукопожатие вышло беглым и кратким, но крепким. Друг быстро пошел назад, в сторону дома, мужчина последовал за ним.

Ацамаз стоял на небольшом пригорке в сотне шагах от хадзара и наблюдал, сложив на груди руки, за тучей, выползающей из-за хребта. Пес сидел у его ног, подняв черную морду, и, не мигая, следил за приближением человека.

– Бог в помощь, – поприветствовал Хамыц.

Тот кивнул и обратился к нему свое лицо. Гладкое, почти без морщин, оно, казалось тем не менее, никогда не ведало молодости. В темных зрачках не отражался свет. Чужак опять перевел взгляд на облако и неожиданно спросил:

– Как считаешь, дождь в нем или снег?

Хамыц пожал плечами и ответил:

– Кто его разберет? Пожалуй, что дождь. Для снега рановато.

Не поворачивая головы, тот ухмыльнулся тонкими губами:

– Как сказать. Стоит обрушиться снегопаду, и завтра нам покажется, что для любого дождя уже поздно. А коли через пару дней вернется солнце, под его светом мы станем размышлять о том, как еще рано для осеннего дождя... Разве не так? «Рано» и «поздно» – всего лишь причуда.

Хамыц раздраженно подумал: ты мне еще про яйцо и курицу расскажи, а вслух сказал:

– Твоя правда. По мне, однако, хорошо бы вместо снега – дождь. А еще лучше, если туча вовсе мимо проползет...

– Не проползет, – сказал чужак. – Только, сдастся мне, мы еще пожалеем, что это не снег...

И тут Хамыц понял. Воздух внезапно сделался тесен, тяжел и как-то грузно обмяк. Птица, парившая в небе прямо над их жильем, сложила вдруг крылья и орлом опрокинулась вниз, потом, пронзительно крикнув, вынырнула из воздушной ямы и стремительно понеслась, улетающая над лесом в серую пустоту.

– Буря, – выдохнул Хамыц, и Ацамаз кивнул:

– Похоже на то.

Лежавший смирно пес напрягся, вскинул уши и зарычал, однако тут же сбился на жалкое урчание. Туча вышла из-за хребта и потянула за собой отлепья ядовитых облачков.

– Ты хотел мне что-то сказать? – спросил чужак, впервые внимательно поглядев Хамыцу в глаза.

– Да, – признался тот и почувствовал, что сказать сейчас не сможет. – Давай отложим на потом.

Чужак согласно кивнул и сказал:

– Сейчас и вправду не до слов. Взгляни на коней.

Обернувшись, Хамыц увидел, как лошади, прибившись к коновязи, топчут невпопад встревоженную землю, словно боятся об нее обжечься. Бросившись к дому, он на бегу заметил, как с берега вздымается ему навстречу грязный пыльный столб. Лес за рекой уже потускнел, опух и стал быстро растворяться в желтом натиске крепчающего ветра. Друг уже выскочил из дома и торопливо подвязывал постромками ноги беснующихся коней. Придя ему на помощь, Хамыц схватил веревку и попытался стреножить своего коня, но тут же был отброшен в сторону копытом кобылы прищельца. Свалившись на спину, он услышал могучий гул, бегущий к ним из-под земли. Спустя мгновенье Хамыца подхватили сильные, пронзительные руки, втащили в дом и бросили к стене. Там уже сидела женщина и, обхватив колени, смотрела на него взглядом, в котором ничего, кроме ужаса, он не распознал. Раздался жуткий грохот, и в хадзар влетело страшное, бесформенное тело воды, вмиг смело очаг, всмятку разбилось о стену напротив и ослепило их сотней пощечин. Вслед за ним, по-звериному вскрикнув от боли, в узкий проем двери ворвался яростный ветер, пьяно качнулся волной и сразу исчез, удрав в дыру посреди растерзанной крыши. Едва придя в себя, Хамыц взглянул на женщину и заметил кровь у нее на руках. Она держала их, подняв кверху ладони, словно изучая невидимое зеркало. Лицо и одежда на ней были мокрыми, и только глаза оставались сухи. Что-то упало ей на ладонь, и он увидел немыслимо яркую капельку крови.

– У тебя разбито лицо, – сказала женщина, поднялась и, не обращая больше на него внимания, вышла за порог.

Не узнавая, он оглядел помещение, похожее сейчас не на хадзар, а, скорее, на заброшенный хлев. Двое мужчин с непокрытыми головами стояли у стены по другую сторону дверного проема и, тяжело дыша, отряхивали на себе черкески. Потом младший из них нагнулся и, разгребая слякоть, поднял с пола две шапки, молча передал одну чужаку. Однако тот словно и не увидел. Сев на корточки, он склонился над чем-то черным у дальней стены и ощупал его всеми пальцами. Потом осторожно взял на руки. Хамыц встал и, вытирая кровь, шагнул в огромное пространство дня. Женщина шла, оскальзываясь на траве, в сторону реки и, когда он ее окликнул, только ускорила шаг. Кони стояли у опрокинутой коновязи, прибившись мордами к шее кобылы, и часто всхрапывали, выбрасывая из широких ноздрей завитки пара. Поникший лес сменил окрас и стал теперь похож на Хамыцеву бурку, которая валялась в грязи перед домом. До нее было несколько шагов – не то что до женщины. Та преодолела уже с половиной пути и вот-вот готовилась миновать место, где прежде стояла их хижина. Не став подбирать свою бурку, Хамыц побежал. Кровь заливала губы и, попадая на язык, сбивала дыхание. Голова кружилась, и каждый шаг отдавался у него в ушах глухим хлопком.

Тем временем женщина скрылась за обрывом, и он, потеряв ее из виду, стал лихорадочно соображать, где лучше срезать путь. Так ничего и не решив, он побежал наугад к ближней запруде. Достигнув кромки оврага, он увидел краем глаза, как она метнулась к воде, и, вскинув руки, сорвался вниз, разбивая спину о каменистые выступы. Едва коснувшись ногами земли, он прыгнул ей навстречу, но, не дотянувшись какого-то мига до ее летящей косы, упал плашмя в слякоть. Все вокруг стихло и смотрело ему в затылок настойчивым глазом. Он поднял голову, но из-за грязи, залепившей лицо, не смог разглядеть ничего, кроме пятна размером с ладошку в сером тумане света. Потом он услышал смех, и сразу отчего-то ему сделалось все безразлично, как бывает только перед самым сном, и тут же вслед за тем – очень голо и грустно.

Женщина громко смеялась, постепенно обретая в его плывущем взгляде свои привычные очертания. Пытаясь подняться и предательски скользя коленями по дну своего унижения, какой-то крохотной, нечаянной, но пронизательной частичкой сознания он успел подумать

о том, что после этого смеха оба они перешли какую-то грань. Отныне прежняя власть его над нею уйдет навсегда, а если и сумеет сохраниться – так только ее, женщины, милостью.

Словно подтверждая эту мысль, из милости к его гордыне, она так и не подошла, чтобы помочь ему встать. Смех ее был искренен и беспечен, как у ребенка, и он вдруг с щемящим чувством прозрения ощутил, что любит ее так сильно и навеки, что не признается в том даже себе. «Я мог бы ее убить, – внезапно подумал он. – Мне хватило бы малого подозрения...»

Она стояла перед ним, заходясь в смехе, живее которого в целом свете было ничего не сыскать, и хохотала – над ним, над ужасом отчаянья и над рекой, от которых еще минуту назад ее отделял лишь какой-нибудь шаг. Мокрая, грязная, плачущая и родная, она было важнее всего, что оставалось у него за спиной, и того, что ждало его впереди. В сущности, ничего, кроме этого мига, и не было...

XVI

Пес выжил. Сперва им показалось, что он не дышит, а в полуприкрытых глазах его стынет стекло. Чужак вынес его из дома и положил на циновку, предусмотрительно подстеленную Тотразом. Они долго молчали, впервые, пожалуй, этим не тяготясь, и смотрели на бездыханное тело, думая каждый о своем. Им снова удалось уцелеть, и оттого в гибели пса читался им некий негрозный укор. Признаться, куда сильнее досаждала Тотразу земля. Покрывшаяся повсюду, куда хватало взгляда, слякотью, она пахла теперь сырыми корнями и затхлой водой.

Узким глазом сквозь мутное небо проглянуло солнце, опустилось ладонью им на спины. Думая о том, куда могли подеваться все птицы, Тотраз увидел вдруг, что тело дрогнуло и по нему пробежала едва заметная рябь. Пока они гадали, что это было – последняя судорога или вернувшийся вдох, – жизнь робко заскулила мольбой и прильнула к собачьим зрачкам. Пес шевельнулся и задышал, взглянув на них из-под седых ресниц, и тогда чужак произнес:

– Слава богам, отходит...

Он посмотрел на второго, и тот послушно кивнул, направился в дом и через несколько мгновений вновь появился на пороге, но уже – с кубышкой и черепком от миски в руках. Чужак услышал, как в кубышке плеснулась вода. Наполнив ею черепок, Тотраз осторожно поднес его к собачьей морде и подождал, пока очнутся ноздри и вынырнет розовый тонкий язык. Пес покорно слизнул с черепка воду и задвигал лапами.

– Лежи, – приказал чужак, и он тут же повиновался, прижав к затылку уши.

– Ребро? – спросил Тотраз.

Вместо ответа чужак поднял два пальца и ткнул подбородком, указав на брюхо. Тотраз присмотрелся и увидел, как при каждом коротком выдохе под шерстью с левой стороны отчетливо проступают два острых вздутия. Глядя на них, трудно было отделаться от ощущения, будто там, внутри, застряла проглоченная псом рогатина. Костяшками пальцев чужак отер с собачьей морды пузырьки кровавой пены и, словно сам себе, сказал:

– Если осталось чем дышать, вытерпит. – Потом добавил, обратившись к Тотразу: – Сейчас держи.

Тот взял пса за передние лапы и почувствовал, как в них, слабо хрустнув, беспомощным ручейком прожурчала то ли боль, то ли ненависть. Скинув с себя кожаный пояс, к которому был подвешен охотничий нож, чужак встал поудобнее у собачьей головы, опустил пятку на землю, а носком крепко вдавил в нее мохнатое ухо. Потом склонился над псом и быстро ткнул пальцами ему в подбрюшье. Пес сильно вздрогнул, захрипел горлом и стих. Каким-то неуловимым, молниеносным движением чужак просунул под него пояс и ловко подвязал его двойным узлом на спине.

– Все, – сказал он, – Можешь отпускать.

Тотраз отошел в сторонку, огляделся вокруг и сказал:

– Вот тебе и река... Обгадила все в три минуты. Может, потому и прозывается Проклятой.

– Не поэтому, – ответил чужак. – Просто так легче...

Тотраз нахмурился и смерил его взглядом с ног до головы. Потом отвернулся и сплюнул через плечо. Чужак снова начинал его раздражать. Чтобы не думать об этом, он стал размышлять о том, как лучше будет наново справиться крышу. Ясно, что балки на стропила они пустят прежние, потому что оставшиеся Хамыц захочет определить под крышу чужаку. Хамыц не отступится. Это уж как пить дать.

Едва он произнес про себя эти слова, как почувствовал жажду. Вспомнив, что вся вода из кубышки пошла на пса, он снова сплюнул в сердцах, подошел к своему коню, оттащил его

от коновязи, сорвал с ног постромки и запрыгнул верхом. Поддев бока пятками, направил коня по дальней, пологой тропе к последней заводи, чтобы не встречаться с теми двумя.

Когда-то, давным-давно, он уже видел бурю. Правда, с этой она не шла ни в какое сравнение. В тот раз тоже срывало крыши, а еще ломало заборы и даже калечило скот. И все же давний тот ураган был просто взъярившимся ветром. Он свалился на их аул клубком горячей пыли, что катилась посуху через перевал и нагрянула к ним не с реки, а сверху, с бурого пекла небес, не знавших дождя целый месяц. Слышать тот ветер было не так боязно, как здорово интересно – и, пожалуй, не только оттого, что был он тогда мальчишкой, умевшим пугаться лишь грома да ночи, и совсем не страшился дня. Днем не могло случиться ничего худого, потому что все худое днем превращалось в неправду. Тот ураган был скорее чудом, сотворенным жарой из уныния белого солнца, постепенно, час за часом, превращавшегося в ожог. Ветер отхлынул от них, собрался эхом, пошептал за скалой, приосанился и опрокинулся на аул со странным хохочущим визгом. А уже через пару минут все было кончено, и, с трудом продирая глаза, они увидели, как скачет по ущелью вдаль его взлохмаченный вихор.

Тогда было смешно и громадно, потому что мир в самом деле оказался больше того, какой привык он встречать по утрам. Был он почти таким же, каким придвигался к нему в темноте, только на этот раз явился еще и не страшным – этакий исполин, решивший поиграть с ребенком. А потом пошел тихий заботливый дождь. Он был легким и добрым, как детский полуденный сон, и сочился с проемов в крыше серебристо-зелеными каплями. Только песок на зубах напоминал о буре. Овцы, заборы и куры были уже не в счет, потому что для чуда то была не цена...

Сегодня все было иначе. Он был уверен, что – из-за реки. А потому глубокомысленность пришельца, намекнувшего на ее невиновность, была им воспринята плохо. С тех пор, как Тотраз побывал у смерти в гостях, в нем обострилось какое-то особенное, внутреннее чутье, слышавшее жизнь так глубоко и верно, что всякий взгляд отныне, звук и мысль сверялись этим мудрым, тонким слухом. Он подсказал ему сейчас, что то – река. Тотраз не сомневался. Река была в самом деле проклята. И пусть она их все еще не отравила, – он знал, что это был обман. Они *могли* сегодня умереть. И был тому причиной не какой-то суховей, а вздыбившаяся вода, чуть было не настигшая их у порога. Словно нарочно, она ждала целых полгода, покуда взрастут стены, чтобы затем наброситься на них и в отместку за дерзость напрочь вымести жизнь из этих камней, принадлежавших ей, ей одной, вот уже три столетия. Чужак был глуп. Он полагал, что ему все дозволено: думать, решать, сомневаться и говорить вслух то, что в лучшем случае могло быть полуправдой, а в худшем – похоже на нее так, что было и не отличить. А потому был он опасен. Он не верил в знамения. Точнее, в то, что за ними стояло. Казалось, он даже не очень и испугался, когда буря ворвалась в дом и хотела их уничтожить. Пока она летела к ним, сшибая свет и воздух, он действовал так, будто в точности знал, как лучше распорядиться руками, удачей и временем, чтобы избежать ниспосланной расплаты. Он сделал все, чтобы они спаслись. Но при этом – сделал так, чтобы не было чуда. А потом захотел очернить еще и само знамение.

В нем не было страха, – не того, что порочит мужчину, а того великого страха, что только и является свидетельством почтения к тому, что даруется тебе вместе с сердцем, печатью на длани и святым человеческим трепетом и составляет вкупе с ними высший промысел и удел. Пришельцу было *все равно*, а такого не скроешь. С одинаковым равнодушием он встретил бы любой исход и, коли предпринял все, чтобы остаться в живых, – так только по привычке. Ибо он привык бороться, доказывая себе (кому другому из людей он не стал бы доказывать даже того, что по-прежнему жив, хотя это-то уже и казалось непостижимым, если смотреть ему прямо в глаза), – а заодно и своему единственному противнику, – что готов тягаться с ним силами хоть до второго пришествия и уж, по крайней мере, до последнего вздоха, и было это между ними как растянувшееся в целую жизнь состязание по путаным и жестким правилам,

в котором один из них может повергнуть другого в любую секунду, но рискует при этом проиграть какой-то важный спор, а второй никогда не признает себя побежденным, хоть и прекрасно сознает, что победы ему не видать.

Но и это бы еще ничего. Гораздо хуже было то, что в этом втором надежды – и той уже нет и в помине, нету настолько, что его не заботит, каким будет конец и чем обернется его поражение: позором или славой, улыбкой или слезой. Это нельзя было назвать ни геройством, ни мужеством, потому что обычно и то, и другое рождается из чувства – негодования ли, гордости или чего другого. Но в том и дело, что в неспешной, молчаливой стойкости чужака чувства никакого не было, а вместо него в глубоком провале глазниц серым холодом давным-давно заиндевело дымкой безразличие. Вот чего не мог простить ему Тотраз: того, что чужаку равным образом наплевать и на жизнь, и на смерть, и на самую разницу меж ними. Был он в чем-то как река – не та, что на них сегодня обрушилась, а та, что час за часом, день за днем три века кряду старательно стирала все, что сковывало ее в выборе русла, пока не выскоблила все вокруг и даже внутри себя до последней дремучей пустоты. А после судьба – извечная ее соперница и сводня, – привела к ней трех наивных грешников и, только разбудила время, как тут явился он, кто сам – стихия, сам – строптивец и проклят небесами тем, что до сих пор не уничтожен, ведь было это лучшей карой – принудить жить того, кто сам того не хочет, кто равнодушен даже к смерти и видит в ней упрямую в вечность тишину. Но он же горд при том настолько, что этой тишины не ищет, не просит и не ждет. Они вдвоем, река и он, чужак (да еще – черный пес), были ересью, кощунством и искушали Тотразову веру и вдохновенное наитие души его примером самонадеянного отречения от всего, что могло быть начертано лишь небесным перстом, как, скажем, та мета, что вынес сам он из смерти черным шрамом у себя на лбу.

Иными словами, для чужака никаких чудес не было и быть не могло, в то время как для Тотраза весь мир с недавнего времени казался сплошь составленным из чудес и рассеивал их по его судьбе витиеватыми узорами, смысл которых был сразу непостижим, а может, и непостижим никогда, но только оттого не переставал быть смыслом. Вслушиваться в него и означало жить. А жить означало самое главное...

У запруды он спешился и опустил руки в воду. Она была мерклой и непрозрачной, как будто вымазана изнутри ненаступившими сумерками. Поднявшийся со дна ил медленно рассыпался в ней тягучими неправильными кольцами. Сама же река ничуть не изменилась, разве что стала наглее. Она бурлила в стороне от них и дышала Тотразу в лицо обманчивой свежестью. Изрыгнув на землю давно копившуюся желчь, река сделалась как бы легче и чище, и только вода запруды хранила в себе следы ее неизбывной испорченности. Пить из нее было немислимо. Лучше было спуститься ниже и, встав у потока, ловить ладонями холодные пряди реки. Оставив коня утолять жажду у запруды, Тотраз пошел туда, где русло ширилось могучей громкой силой и поливало берег щедрой пеною. Странно, но на целом плоскогорье, вплоть до самых скал, не притаилось ни единого ручейка. Вода скрывалась где-то под травой участка, выбранного ими под семена, но до сего дня у них не доходили руки пробить поблизости от него хотя бы крохотный ключ.

Напившись, Тотраз уселся на камень и еще раз вспомнил то, что с ними сегодня произошло. Самым неприятным была его собственная безропотность, с которой он выполнил приказ чужака спешить в дом. Он даже не возразил, невзирая на то, что видел, как кобыла сшибла Хамыца с ног. Слава богам, он не утратил способности быть честным сам с собой, а потому некоторым оправданием такому поступку служило лишь то, что он, Тотраз, не струсил. Не будь рядом пришельца – и он, несомненно, скрылся бы в доме последним, даже если бы знал, что рискует не успеть. Он ни за что не оставил бы друга в беде, не окажись рядом чужак. Наверно, в любом случае он не должен был уходить оттуда раньше тех двоих. Однако почему-то сделал это, и сделал не раздумывая, словно подгоняемый внутренней убежденностью, что чужак Хамыца спасет. В чем тут крылась причина, он не знал, и это его угнетало. Конечно, в итоге им

всем повезло – и даже коням, брошенным снаружи у стены, – это вот и было самым важным. Тем не менее на сердце у Тотраза было мрачно и тяжело от какого-то вредного чувства вины, не отпускаявшего его с той минуты, как он вторично покорился воле чужака и побежал в хадзар за кубышкой для пса.

О том, что это все означало, додумать до конца ему не позволяла гордость. Вернувшийся ветер задул с горы, и его передернуло. Кликнув коня, Тотраз сел верхом и, взобравшись по смывтой тропе на пригорок, пустил его слабой рысью. Справа на горизонте увидел две точки. Они двигались туда же, куда скакал теперь он. Только, пожалуй, думали совсем о другом...

XVII

Новую крышу справили за два дня. Чужак настоял на том, чтобы заново переложить все стропила, каждое из которых они вторично обстругали и подогнали к выступам в стене. Он же предложил замуровать щели илом, прибитым рекой во время бури, но, не сговариваясь, друзья отвергли эту затею, предпочтя копать глину в овраге. По ночам женщина долго не смыкала глаз, пока не погружалась в длинную дрему, в которой сон и явь сплетались в череду улыбочивых кошмаров.

Спустя пару таких ночей мужчина вызвал пришельца на разговор и сказал:

– Отсюда две дороги. Одна – назад, другая – за перевал. Сдается мне, никакая из них тебе не по нраву.

Чужак не ответил. Он лишь пожал плечами и, чтобы Хамыцу было легче продолжить, отвел в сторону взгляд.

– За тот месяц, что ты у нас, многое случилось.

«Чушь, – тут же подумал он про себя. – За этот месяц случилось гораздо меньше, чем хотелось бы нам. За целый месяц ровным счетом ничего не произошло, потому что все мы по-прежнему вместе, несмотря на весь этот месяц длиною в самый длинный год. А через пару недель настанет зима».

– Дальше так нельзя, – сказал он вслух.

Из-под шапки чужака выбивалась седая прядь. Он стоял, не оборачиваясь, и не сводил глаз со склепов. «Коли ему и нужен отдельный дом, – размышлял Хамыц, – так он давно готов. Их даже шесть, пусть выберет любой».

– Стало быть, сосед, – сказал чужак. – Ты об этом?

– Да, – признался Хамыц. – Да, мы решили.

«Если можно назвать решением то, к чему ты нас вынудил, – подумал он. – Будто ты дал нам такую волю – за себя решать».

– Можем успеть до первого снега, – добавил он.

Чужак повернулся к нему и едва усмехнулся:

– До первого снега никак не успеем, – сказал он. – Да оно и не нужно: уйду я с рассветом.

Мужчина услышал, как у него в груди заворочалась шерстью живая нора и начала торопливо обыскивать свои закоулки.

– Куда? – спросил он, поведя лопаткой.

– Из ваших ночей. Ты ведь этого хочешь?

Чужак и не рассчитывал услышать на это ответ. Тот был уже неуместен, как и новый вопрос. Утро было светлым и умным, и где-то очень далеко в нем бродило тепло. Оно-то, утро, и подсказало ему выход. «Чудно, – размышлял пришелец, – как верят люди в злую силу. Им мерещится, будто она всегда не в них, а вовне, словно это орлан или сокол, парящий над ними и выжидающий случая вонзить свой клюв в их ожидающие дни».

Договорившись, что примутся за работу в тот же день, они разошлись. Для своего хадзара чужак подобрал участок шагах в семидесяти от северной стены их дома. Земля здесь была суше и тверже, и подмерзший верхний слой им пришлось разбивать острым заступом. Ни сам пришелец, ни кто-либо другой не позаботился о том, чтобы освятить место молитвой. Под фундамент вырыли только локоть земли, так что за стены взялись уже через день. Работали толково и споро, хотя и без азарта. Лежа на правом боку, пес внимательно наблюдал за всем, что делают люди, а ближе к вечеру, слизнув с миски еду, пока его хозяин ужинал в чужом доме, косолапо трусил вслед за ним к кривому и низкому шалашу, возникшему снова на месте первого жилища. Свою кобылу чужак оставлял у коновязи, доказывая тем самым не то свое

полнейшее доверие к соседям, не то еще большую уверенность в том, что затея с переселением не стоит и ломаного гроша.

Пес спал у входа в хижину. Если кто из этих двоих и чувствовал какое-то неудобство, то это явно был не человек. Когда он изъявил желание подлатать развалившуюся и снесенную бурей хижину, дабы переждать в ней строительство, его намерение их покорило. Но, пожалуй, больше всех оно возмутило Тотраза, хотя решение чужака казалось, как на него ни смотри, не только разумным, но и, по большому счету, великодушным. Идя навстречу тому, чего так хотелось Хамыцу и женщине, он будто делал лишний шаг в попытке угодить. Однако Тотраз рассудил иначе. «Ему просто надобно все испохабить, превратить гнездо в логово...»

И все-таки возненавидеть чужака Тотраз не мог. Было в том нечто такое, рядом с чем любая ненависть казалась мелкой мстостью. В нем было трудно ощутить врага, хотя сказать, что Ацамаз им не опасен, было тоже нельзя: всюду, как собственные следы, он оставлял за собой яд сомнения, который проникал в душу Тотраза, разъедая ее хрупкий уют, и тогда все, что было прежде – только что! – ясным, понятным, безмятежным и дорогим, начинало вдруг тускнеть и колебаться.

Как-то раз, во время передышки, чужак отпил из бурдюка воды, потом, заткнув его затычкой, бросил наземь и небрежно предложил:

– Погляди и скажи, на что похоже.

Бурдюк дрожал, волнуясь рыхлыми боками, и очень походил на то, чем, в сущности, и был: на желудок овцы, разве что чересчур полный.

– Не знаю, – ответил Тотраз. – Пожалуй, на большую жабу. Может, на мать ее. Не знаю. Хотя ближе к обеду он для меня будет похож лишь на голод. Так же точно, как вечер, усталость или мозоль.

Хамыц засмеялся, но как-то уж очень намеренно. В последние дни это случалось с ним часто. Смех будто сидел в нем и заранее ожидал подходящей минуты, чтобы вовремя встрять между ними и задуть едва разгоравшийся спор.

– Время, – сказал чужак.

Подобрав камень с пордевшей травы, он швырнул им в совсем было успокоившийся бурдюк и повторил:

– Время, вот на что это похоже. А мы все внутри и думаем, что нас настигла буря, когда какой-нибудь бездельник кинет палкой в его прожорливое брюхо. А потом приходят тишь да гладь, и мы уверены, что то сама милость Божья. А что, если бездельник уснул? Или его укачала скука?

Ответить поспешил Хамыц:

– Коли это и так, нам внутри все равно. Для муравья в лесу проходит вечность, прежде чем солнце сменит ночь, а для неба вечность эта ничтожней мгновения... Время течет по-разному для орла и для курицы. Что в том плохого?

– Он не про то, – перебил Тотраз, и чужак искоса поглядел на него, прищурившись, и удовлетворенно кивнул. – Тут дело не в солнце и муравье, а в реке.

Чужак опять кивнул и, опершись о колено, приготовился слушать.

– Все, что он собирался сказать, это то, что она ни при чем. Дескать, время ей неподвластно, потому что оно не течет, а только катается брюхом по мерзлой траве. И даже не знает, что такое поток. Верно? Потому что его, мол, попросту нет, а есть лишь какой-то бездельник, играющий временем, как бурдюком, и отпивающий лениво из него, когда одолеет жажда. Правильно говорю?

– Почти, – сказал чужак. – Ты говоришь даже лучше. Странно для человека, который не верит...

– Я верю в другое, – Тотраз уже завелся и почувствовал, как у него рвется голос, однако не умолк и не остановился. Речь хлынула из него гневным ливнем, и даже когда в нем остался

лишь хрип, для других он звучал, словно эхо: – Я верю в то, что бывает взрыв, и тебя уносит в проклятье, а потом ты живешь, будто слушаешь смерть, пока не столкнешься с ней взглядом и не поймаешь себя за какую-то тонкую нить, дернешь ее что есть силы и вцепишься в жизнь, словно в чудо. А потом ты поймешь, что такое рождение – настоящее, то, в котором участвуешь сам по себе, где есть только ты, твоя боль, ослепительный свет да еще вот – борьба. Борьба и отчаяние... А потом на тебя нападает тоска, и ты знаешь, повинен в том сам, и тогда ты каешься, молишься, плачешь, ползешь и, все еще слушая смерть, собираешься выжить. Даже если на это придется истратить весь свет, свою кровь, всю тоску и весь воздух в придачу. Ты царапаешь землю ногтями, только б в ней не уснуть. В темной, как сажа, ночи твоя жизнь борется с тем, чем была. Она бьется с собой и со смертью. А потом наступает рассвет, и ты видишь, что солнце с тобою, ты знаешь, что выжил, и, стало быть, больше мир не двинется вспять. Есть только утро, дыхание ветра и птичьи голоса, и ты идешь за ними в день. Ты живой и покорный... И кроткий, а за тобой следит простое солнечное небо, и вы с ним – заодно. И тогда оно, время, распахивается перед тобой, и ты видишь длинный-предлинный след, похожий на отражение – не знаю чего; чего-то большого, как восход в спокойной воде. И отныне ты знаешь, что такое дорога и как к ней идти. Да, оно похоже на прозрачный след, след лучей, но только – когда ты знаешь, как увидеть это... Я *видел*. И не желаю верить в жабу и бурдюк. Время – не брюхо, оно глаз, прикованный к светящейся дороге. У нее есть начало и конец. До него надо лишь добраться... Свернешь – и оно уже за тебя не в ответе. Это как у путников в горах, связанных одной веревкой. Или как пуповина: перережешь – выкручивайся дальше сам. Тут уж оно тебе не указ, его просто нет для тебя, все равно как тропы для слепого. Только оно-то здесь при чем? Хороший охотник медведя по запаху чует, а плохой его с трех шагов за стог сена принять может, так не медведь же в том виноват! У Тамби из нашего ущелья трава и бурка всегда одного цвета были, Хамыц подтвердит. Но только никто, кроме Тамби, того не признавал. Кто был прав, а? И коли люди говорят, что время идет, а не булькает, то, стало быть, так оно и есть, хоть для кого-то оно бурдюк с подпревшей водой... Не знаю, отчего это кому-то так хочется, чтобы оно брюхом казалось, только я в такое не верю. Пожалуй, не поверю никогда...

Выговорившись сполна, он тяжело дышал, словно гонец, пробежавший расстояние ценою в собственную жизнь, чтобы передать известие ценою в вечность. Хамыц поднял с земли бурдюк и предложил ему напиться. По его нарочито небрежному жесту было ясно, на чьей он стороне. Что до чужака, то он даже не сменил позы и все так же сидел, опершись о колено, и смотрел на них с улыбкой, в которой читалась если не усмешка, то неподдельное удовольствие спорщика, убежденного в своей правоте. Стало быть, Тотраз выплеснул хоть и много, но все же явно недостаточно, чтобы его смутить или, по крайней мере, заставить отложить свой ответ.

– И где оно находится, твое «никогда»? Впереди или сзади? Рядом с «когда-то» или под боком у «когда-нибудь»? И что такое твое вытянутое в колею время, если прежде «никогда» для тебя значило то, что теперь превратилось в «недавно»? Ведь никогда раньше ты и не думал, что когда-нибудь окажешься у Проклятой реки, как никогда не знал, отчего она проклята, как не знаешь и теперь, почему она к себе никогда никого, кроме склепов, не подпускала, а вот тебя – сберегла, не отравив и не спугнув? И почему еще вчера ты твердо знал, что мне не быть для вас соседом – никогда, а уже сегодня сам мне помогаешь возводить стены дома? Что такое твое «никогда» и твоя озаренная светом дорога, если всякий раз ты натыкаешься впотьмах на яму из «когда-то»? Сколько сотен твоих «никогда» уже превратилось в эти «когда-то»? Что до бурки и травы – так в ночь они и впрямь одного цвета, а вот какого цвета твое простое солнце, ты скажи? Красного? Желтого? Золотого? А может быть, белого или розового? И какого цвета оно, когда отовсюду обложено тучами? Ты можешь назвать его истинный цвет? С чего ты решил, что время глупее тебя? Будто оно ползет себе, как груженная

всеми грехами повозка, по дороге, которой не видно конца? Где ты видел дорогу, у которой бы не было двух хвостов, как двух «вперед» и двух «обратно»? Почему ты решил, что возвращаться назад дозволено лишь людям? И разве ты, спеша вперед, не обернул для себя время вспять? Спроси у Хамыща, что древнее, ружье или лук? Вода или масло? Хадзар или хижина? Река или мост? Камни или пашня? И куда мы сейчас идем – вперед или назад? Бежим или пятимся? И даже будь выстроен здесь целый аул, войдем мы в него как в твой прозрачный светом день, или просто вернемся туда, в тот миг, из которого выросли склепы? А может, в том и разницы нет? Тогда где же стрела? Где загадочный след восхода? Где направление? И где дорога? Веди туда, если знаешь ответ. Я не против. Только, сдаётся мне, для вас что вперед, что обратно отсюда податься – все равно что выбирать между огнем и студом. А потому сидите вы *здесь*, в подмышке этого самого времени, которое – куда захочет, туда и потечет, и из любого будущего может в два счета сотворить еще одно прошлое, а после любое прошлое вмиг превратить в настоящее, и потом завалится спать на пару веков, а проснувшись, выпьет его без остатка, сохранив на самом доньшке только капельку будущего и мутный осадок того, что уже состоялось не раз и въелось во время настолько, что вынырнет ржой везде, где забьется волна. А ты говоришь!.. Нет, ты путаешь время с надеждой. Все мы путаем их иногда. Чаше – всегда... Вот тебе и еще одно слово – «всегда». Подумай над ним. Оно лишь изнанка твоего «никогда», это как перед и зад. Два разных бока у нашего бурдюка. Они в пору друг другу так же точно, как тело и тень, только порой меняются местами. Разве нет? Ты говоришь мне, что время идет. А я говорю, что – не только. Еще оно движется, спит, убегает, уходит, стоит, сотрясается и поджимает... Пожалуй, еще и лежит, будто старая сука. Растекается, думает, мстит, повторяет себя, повторяет других, уползает в нору или жалит... Два вопроса: куда оно движется и – для чего? Ты полагаешь, оно это знает. Знает *всегда*, хоть *никогда* толком не объясняет. Я говорю почти то же: не знает оно *никогда*, а потому *всегда* не может объяснить. Вот и вся разница. А что до охотников – так и здесь ведь бывает наоборот: кто-то медведя за стог примет, а кто и стог – за медведя. А коли и впрямь медведь перед ними вдруг в трех шагах оказался, то тут уж поди разбери, кому из них проще... Впрочем, кажется, зря я это все говорю, ведь ты так и так не поверишь. Ни за что не поверишь, даже если опять у тебя что-то взорвется внутри и ты увидишь вместо дороги пятно пустоты.

– И будет прав, – вдруг вмешался Хамыщ. – Потому что верить в то, что ты говоришь, значит не верить вовсе. По мне, так нельзя, даже если время и вправду – плешивая сука. Только это все-таки вряд ли. И коли нам в самом деле уразуметь не под силу, где тут перед, где зад, куда оно течет и отчего засыпает, так то, мне кажется, совсем не наше дело. А наше – строить дом, пахать и сеять. Слушать землю да звезды читать. Наше дело – перезимовать и выложить мост, вот и все. Наше дело – только взять у жизни свое и не расшвыриваться им перед тем, что никогда нашим не станет. Я так полагаю.

Чужак задумался. Он долго ничего не отвечал, и им показалось, что молчит он не потому, что никак не найдет, чем возразить, а оттого скорее, что возражать не хочет. Переждав еще с минуту, Хамыщ поднялся и направился к выложенной вполовину стене. За ним поднялись и остальные. У друга багрово горела выползшая из-под нахлобученной на затылок шапки отметина, по ней им было ясно, что теперь он остынет не скоро.

До самого вечера им почти не пригодились никакие слова. После работы, наскоро раздевшись с ужином, они распрощались, и вскоре женщина и Хамыщ остались наедине. Сегодня он чувствовал к ней неподдельную нежность, которая была правдивей и проще любви, потому что могла целиком уместиться в молчание. Лаская жену, он повсюду слышал под пальцами ее доверчивое сердце. Еще он слышал запах благодарной влаги на ее глазах. Не зная, что такое *время*, он знал, что такое *сейчас*, и в этом *сейчас* он был по-настоящему счастлив.

Он долго не мог заснуть. Женщина давно спала, уложив голову ему в предплечье, и кожа на ее лице матово поблескивала, когда угли в очаге вдруг вспыхивали искрами. Осторожно,

чтобы не разбудить, Хамыц выпростал руку из-под ее теплого сна и тихо вышел за порог. Ночь низко дышала звездами, но, в сущности, была такой же, как и любая другая под голым небом. Далеко внизу шумела река. Дважды проклятая, как утверждал чужак, и все-таки неотравленная. Вода не убила ни их, ни коней, ни надежду. Река даже снабдила их плитняком, помогая выложить эти вот стены. А до того никого и близко не подпускала, словно и вправду была больна, двести лет тоже была больна и потом, осознав, что обречена, проложила себе новое русло, сметая прошлое, от которого подцепила болезнь и которому давно отомстила, не оставив ничего от него, кроме каменных струпьев на своем беспокойном теле, и умирала потом еще сотню лет, обрастая с боков травой, как могила – бурьяном, и потом все это вдруг стало неправдой, обманом (чума, отравы и вода, которую не пили даже звери, которая обязана была убить, но не убила), потому что она, река, напоила людей и коней чистой свежестью и пустила их в свое лоно, снабдив и глиной, и плитняком, а еще прежде – бродом, проверяющим на прочность тех, кто не успел прихватить сюда с собой ничего, кроме собственного греха, и нынче уже сложил для него хадзар. Так что река оказалась здоровой. Она оказалась здоровой и отдала им все, что только могла дать взамен на их тайну, и ждала ее триста лет, будто ей не хватало своей – загадки неотравленья, благодаря которой она не только уцелела и выжила, но и заставила обвал выдолбить для себя новое русло. И тогда скатилась холодным потоком в отравленную пустоту, разделяваясь с ее домами, склепами и костями, вымывая камнями чуму, скосившую давным-давно всех до единого, до последнего мужчины и последней женщины, которым отчего-то река ни в чем не помогла, если только пыталась помочь, но она, похоже, и не пыталась, и потому стала проклятой как сам источник заразы, но только все это было неправдой, и была она проклята лишь собственным здоровьем, несущимся громким потоком посреди болезни, раскинутой на целых двести лет по обоим ее берегам. И может быть, спустя те двести лет, в какой-то миг, устав от пустоты и одиночества, она даже *хотела* заболеть – наравне с остальными, хотела так сильно, что в конце концов не стерпела и выбросилась на болезнь, разливаясь по берегам, где та поджидала ее вот уже двести лет и думала, что тоже отравит, только из этого опять ничего не вышло, и тогда река, уже потерявшая невинность и даже дважды проклятая – своим здоровьем, отдалась тем, кто мог наконец взять ее извечную чистоту и укрыть на ее берегу свою тайну и грех...

Хамыц думал о том, что в сегодняшнем споре неправы были оба – и Тотраз, и чужак. Один – потому что слишком доверял судьбе и небу, другой – потому что не доверял им совсем. Истина, однако, лежала где-то посередине. Размышляя о том, что случилось с ними в последние месяцы, Хамыц приходил к выводу, что все начинается в тебе самом. Сперва ты влюбляешься, потом теряешь голову и решаешь похитить ту, кто заслонил от тебя не только целый мир вокруг, но и твой собственный разум, ты действуешь как во сне, наобум, потому что что-либо рассчитать тебе уже не по силам, ты просто делаешь то, чего не сделать не можешь, а в это время рядом с тобой оказывается друг, оказывается по той же причине: не может иначе, а потом этот друг стреляет в выскочившего из-за угла слепца, приняв за ружье его клюку, и тут же сам получает пулю в плечо, но вас уже ничто не остановит, вы мчитесь двое суток по едва знакомым дорогам, пока и вовсе не очутитесь где-то на самом краю земли под сытым звездами небом и не выясните наутро, что эта земля мертва. А может, даже «мертва» для нее не подходит, ибо, судя по склепам, смерть тоже отсюда ушла, не выдержав безделья и скуки, а спустя недели и месяцы вы все еще здесь и чего-то по-прежнему ждете, пока твой друг не найдет в голых скалах орлиное яйцо и все вы, не сговариваясь, признаете в нем знамение и посеете его в том месте, где решите выстроить дом.

Но только решите-то раньше! Вот в чем вся штука. Все начинается в тебе самом и только потом утверждается небом. Судьба не там, где ты слышишь знамение, а там, где ты слышишь себя. Слышишь так, что упрямишься перед голосом разума и поступаешь вопреки его подсказкам, а потом вдруг приходит знамение и расставляет все по местам, и ты говоришь: судьба...

Но и чужак не прав: он совершает ту же ошибку, что и Тотраз. Он говорит, что время не имеет смысла. Так может заявить лишь тот, кто этот смысл искал. В том и есть его ошибка! Это как с ветром: все равно что искать глазами его исток или пытаться по запаху найти его могилу. Чем больше ищешь, тем меньше понимаешь в рождении его и смерти. Не лучше ли просто в жару подставить под него лицо или укрыться буркой в холод?

Хамыц стоял, обхватив плечи руками, и смотрел, как из ущелья уплывает влажной дымкой пар, высвобождая пространство для глаз и рассвета. Снизу к нему поднимался, хромя, серебристый силуэт. Признав в нем пса, он усмехнулся, вообразив, как заволнуются сейчас проснувшиеся лошади. Пес шел не прямо, а петлял, словно старался представить все как случайность. В отличие от Тотраза, Хамыц относился к нему неплохо и без предубеждения. В сущности, его присутствие здесь Хамыца даже радовало: наличие пса, появившегося неведь откуда, тоже служило знамением, и это было хорошо. «На то они и нужны, знамения, – подумал Хамыц, – чтобы показывать нам, что все идет своим чередом. Прямо ли, криво, вперед ли, назад – не имеет значения. Главное, что идет своим чередом, и как бы при этом ни притворялось, все равно рано или поздно послушно доползет туда, куда нам надобно. Все как с этим псом: сколько бы ни петлял, а идет он сюда, и я это знаю...»

Глядя, как пес подбирается ближе и ближе к их дому, Хамыц вдруг подумал о том, как много вещей открывается с каждым рассветом. Теперь он знал гораздо больше, чем прошлой ночью или прошлым днем. Он знал, к примеру, что Тотраз стрелялся, и понял это потому, что вспомнил вдруг тесемку, запутавшуюся вокруг разбитого приклада, и слово «взрыв», и то, как налило оно кровью шрам на лбу; он знал еще, что друг его отныне никогда того не повторит, потому что верит в жизнь и время; еще он знал, что тоже верит в чудо, хотя не так, как друг, потому что чудо – не гром и не алтарь, перед которым падают на колени: оно просто подарок из кармана судьбы, которую творит не столько небо, сколько твое собственное упрямство и ей же, судьбе, непокорность; он знал еще, что быть ему отцом, и что младенцем будет мальчик, и знал, что будет это вопреки всему, что может сделать с женщиною страх, потому что в нем самом, в Хамыце, его нет и не будет. Еще он знал, что урожай взойдет и будет новый мост, и новые дома, и много испытаний, и знал, что через них пройдет, надеялся, что без потерь, и почти знал, что в это вот уже не верит...

Пес подошел к нему, обнюхал для порядка и, отойдя на шаг, уселся на холодную землю, покрытую густой синевой в этот предутренний час. Они смотрели друг на друга долго и в упор, не отводя глаз, и человек с одобрением отметил, что способна на такое лишь редкая собака. О чем думал пес, было не понять. Возможно, тот думал о том же самом, но только – применительно к человеку. Дом все еще спал, укутанный в тепло, и по-прежнему спали нечуткие кони.

– Выходит, мы поделили с тобой его пополам, – сказал Хамыц, обратившись к псу. – Это утро. Оно принадлежит лишь нам, тебе да мне...

Дрогнув ушами и высоко задрав морду, пес всерьез внимал тому, что говорил человек. Похоже, он был с ним согласен.

XVIII

Никогда раньше люди не видели такого обильного снега. Он выпал сразу, в ночь, и в таком невероятном количестве, что, если бы не чужак, не успевший навесить дверь в своем доме, остальным было бы просто не выбраться. Пока Ацамаз пробивал дорогу к хадзару соседей, пес полз за ним, погружаясь по уши в снег и поминутно фыркавая белой, словно усыпанной мукой, мордой. На то, чтобы разгрести снег перед входом, у них ушло не меньше часа, после чего промерзший до мозга костей чужак уселся у очага, сунув чуть ли не в самый огонь свои одеревеневшие пальцы. Тело его непрерывно дрожало, будто кто-то невидимый тряс его, схватив за грудки. Пес улегся с ним рядом и быстро-быстро дышал, высунув язык и распространяя по помещению горький запах мокрой шерсти. Когда женщина незаметно приблизилась, у него впервые не хватило сил, чтоб на нее зарычать. Оставив на полу, сбоку от чужака, дымящуюся миску с бульоном, она шмыгнула на женскую половину и стала ждать, когда двое друзей управятся с лошадьми и вернутся в хадзар.

Примкнувший к дому с южной стороны навес, сработанный из тех же веток и тростника, что уже дважды до того шли на шалаш, ночью рухнул под тяжестью снега. Чужака хватило на то, чтобы отвязать коней и вызволить свою кобылу из-под обломков скудной крыши, заваливших все пространство вокруг. Разгребая слипшиеся от мороза ветви, он увидел, что повод, которым была привязана лошадь, лопнул и застрял, примерзнув между спутавшимися ветками, покрытыми, как стеклом, коркой льда, в который застывало много часов кряду дыхание испуганной кобылы. Ногами раскалывая этот прозрачный слепок страха, чужак понимал, что поспел как раз вовремя: стоило кобыле мерзнуть вот так, почти без движения, в хрустальном плену хвойных веток еще хотя бы час-другой – и ей уже не жить. Только освободив коней, он стал пробивать себе проход к двери хадзара. Он все сделал правильно. Теперь был черед друзей.

«Холод, – думал он, – что может быть хуже? Главный враг всего живого – холод. Я наглотался этого добра с избытком. Во мне сейчас его больше, чем огня в очаге...» Неловко обхватив ладонями миску, проливая на себя ее содержимое, он сделал несколько глотков – словно наугад, не успев даже обжечься глоткой, – а потом, разом опрокинув ее в себя, посмотрел, проверяя, на пустое дно и уронил миску на пол.

Глядя на него из своего укрытия, женщина подумала о том, что в своей дымящейся паром бурке он похож на серый столб, устремленный сквозь крышу вовне. Быть может, нынешним утром он спас им жизнь. Если так, случилось это уже не впервые, но размышляла она о том почти безучастно, по-прежнему не испытывая к этому человеку ни доверия, ни благодарности, разве что ощущала где-то очень-очень глубоко в себе какую-то слабую, ненастоящую, злорадную жалость. Она и не знала, что в ней живет такая жестокость, но по отношению к чужаку каким-то упрямым наитием женщина ощущала, что жестокость эта прощительна – быть может, потому, что его ею не прошибешь.

Пока они втроем сидели в запертом снегом доме, никому из них не пришло и в голову, что он может не прийти, а придя, может не справиться. На сей счет они были спокойны, и только двое мужчин переживали за своих коней, не думая, однако, что к ним на помощь чужак придет раньше, чем к людям: лезть в одиночку в завалы навеса было слишком рискованно, они слышали это по обезумевшему хрипу и ржанию, время от времени раздававшемуся за стеной. Когда же по новым скользким звукам они различили, что он уже там, мужчины лишь пожалы плечами, и по их лицам женщина поняла, что такой оборот их вполне устраивает. По сути, это означало лишь то, что они пробудут в тепле дольше, чем рассчитывали, что в том плохого?

В их отношении к чужаку была общая странность, в которой каждый из них, включая женщину, похоже, не отдавал себе отчета: всякий раз, как пришелец оказывал им услугу, они воспринимали это как должное, словно он совершал то, что был *обязан* совершить, как если бы

по своей воле взялся безропотно и вечно отрабатывать право жить на их земле, и даже когда услугой оказывалась спасенная жизнь, пусть помноженная на три, а то и на пять (если считать их коней), – в том не было опять же ничего такого, за что они должны были его благодарить, ведь не придет же никому на ум благодарить возницу за то, что тот вписался в горный поворот, или бесконечно возносить хвалу кузнецу, починившему треснувший лемех...

Произошло это не сразу – постепенно, прорастая сквозь ежедневие все больше усугублявшейся ими от него отстраненности, как бывает, когда вместо ушедшего в смутную даль человека приходит ленивое творчество памяти, сохранившей от целого образа какой-то единственный штрих, простейший мазок, прямой и короткий, как прозвище. А потом все случается как бы само собой: человек возвращается, и тут уже не мазок сверяют по нему, а, напротив, его самого примеряют к мазку и удивляются, если вдруг непохоже.

Поскольку чужак никуда от них не уходил, им удалось лишь обложить его камнями, отгородившись от него двойной завесой из стен и чередой удачных дней, в которые получалось не приглашать его к своему очагу, предусмотрительно снабдив его погреб (едва была готова крыша) примерно четвертью запасов из их собственного и словно бы надолго наперед откупившись от его присутствия. Все вышло так, как хотели они, а потому им казалось, что он проиграл. С ним рядом *всегда* было так, будто нужно не проиграть. С ним рядом было так, будто он никогда не выигрывал. Так, будто выиграть он не имеет права, а стало быть, допустить того никак нельзя. С ним рядом было так, что лучше бы его рядом не было, а потому, спасая их, он словно бы платил за то, что они терпят его рядом с собой – его самого и настырную его, непостижимую готовность проигрывать вновь и вновь без всякого, однако, сожаления о том, что проиграл. С ним рядом было так, как бывает рядом с неудачником: чуть брезгливо, но и как-то безопаснее – если суждено страстись беде, ты знаешь, что жертва для нее уже выбрана и эта жертва не ты.

Впрочем, на жертву чужак не походил вовсе. Была в нем какая-то сила, которой с избытком хватило б на то, чтобы снабдить необходимым мужеством и сноровкой десяток упрямец из самых неробких. Не заметить ее было нельзя. Наверно, поэтому женщина и говорила, что от него пахнет воском, как от мертвеца: обрести такую силу на этом свете было попросту негде. Да и на свете ином она открывалась не сразу и не всем. По крайней мере, Тотраз, который уже бродил у смерти в ее пустынной прихожей, ничего оттуда не вынес, кроме неумного стремления жить и столь же страстного неприятия того, кто явно жить особо не стремился, а делал это словно по досадной необходимости, которая и вывела его сюда, в тот уголок земли, где смерть и жизнь разделяли лишь буйство Проклятой реки да прихоть капризного ветра, туда, где они, люди и склепы, день за днем вот уже девять месяцев следили друг за другом, гадая, что произойдет, когда им доведется пересечься в невидимой пропасти времени, медленно просыпавшейся эхом ожидания у них за спиной.

Просыпавшейся медленно и неохотно, потому что за весь этот срок, которого кому другим, затерянным в ночах любви, хватило бы как раз на то, чтобы обзавестись ее первым плодом, им даже не удалось тот плод зачать, усмирив оскверненную кровь той, кто никогда не согласилась бы променять свой женский позор на благополучие девичьей чести, кто, может быть, больше другого, больше мужчины желала от того позора зачать их будущее на самом краю земли и готова была заплатить за это полным забвением прошлого. В ее покорности уделу тайлась не столько послушная безроптность, сколько необузданная строптивость удел этот осуществить – до конца и как можно скорее. Лишь раз позволив судьбе вмешаться в свою жизнь, украсть себя из неги сонного родительского дома, она решила стать ее, судьбы, надежнейшей наперсницей и нетерпеливой подругой, спешащей приблизить заветную развязку, после которой ей не нужны будут ни прошлое и связанные с ним воспоминания, ни даже и сама судьба. Ей удалось превратить свой удел в свой же выбор – с легкостью, которой до сих пор не было дано никому из мужчин.

С ними все было труднее. Им нужно было всякий раз с чем-нибудь, да сверяться: с небом, с минувшим, с мыслью о них или с собственной совестью. Им не хватало той очень простой, естественной, бесшабашной и вовсе невразумительной для них мудрости, которой обходилась женщина, когда понимала, какой поступок ей сегодня нужно совершить, чтобы хоть чуть-чуть, хоть на самую малость стать ближе к своему материнству, которое (она знала это наверняка) способно оправдать все, что с ними произошло, происходит или еще произойдет, ничего при этом не объясняя.

Да, она молилась только об одном, но небо все чего-то ждало, все не решалось, медлило, тянуло, доводя ее порой до исступления ненависти, которую в минуты ярости она могла предъявить кому угодно: псу, другу, солнцу, мужчине или самой себе, но чаще – чужаку, насквозь пропахшему воском. Этот дух впитался в него настолько, что ей порой казалось, будто он для того лишь сюда и пожаловал, чтобы вернуть его шести склепам, откуда тот выветривался три долгих века кряду. Однажды она призналась мужчине:

– Странно, что он никого не убил.

– Почему ты знаешь? – спросил он. – И отчего оно тебе странно?

– У него другое лицо. Слишком гладкое. Глаже, чем у Тотраза. А разит от него так, будто помимо своей смерти он несет на горбу еще и с дюжину чужих и тоже неприкаянных...

– Нет, – сказал мужчина. – Кое в чем убийца и он. Да к тому же в таком, что мало кому до него доводилось.

Потом пояснил:

– Свое имя. Он убил его наповал. Непонятно только, зачем ему это понадобилось...

Но знать о том им не хотелось. На этой земле истории не продолжались, а начинались вновь. Что-что, а это было им известно. И все же иногда, подглядывая за чужаком, женщина невольно пыталась угадать – не жизнь его, не прошлое, нет, скорее, – его душу. До сих пор она не слишком в том продвинулась. Во внешности чужака была своя особенность: всякий раз при пристальном взгляде на него ей отчего-то казалось, что она рассматривает его впервые. Это лицо было неуловимо для глаза, как промельк тени в подвижной воде. В нем не было того, что в лицах быть должно: какой-то главной зацепки, легко узнаваемого постоянства, характерной черты, делающей его похожим на самого себя сегодня, завтра и всегда, того приносимого с собой почти физического ощущения своей единственности, которое улавливает тот, кто на него посмотрел, раньше еще, чем взгляд различит подробности глаз, подбородка и лба. В нем почти не было следа последнего прощания, с которого можно было бы возобновить знакомство, и каждый раз женщина подмечала в нем какие-то новые, не распознанные прежде приметы, которые, однако, стирались уже при следующей встрече.

Порой в нем обнаруживалось то, что обычно трудно разглядеть в лице мужчины: к примеру, дышавшая впадинка под скулой или мягкие изогнутые брови, не редкие и не густые, а просто положенные двумя правильными овалами над равнодушно-тревожными глазами, цвет которых она тщетно пыталась определить. В зависимости от того, как падал свет, они меняли свой окрас от мглисто-черного до непрозрачной синевы, а иногда, перед самыми сумерками, он делался влажным и серым, как хмурое небо еще без дождя.

Сейчас в его глазах красноватыми искрами тлел их очаг, остывая в холодных зрачках бледной каплей. Губы чужака были плотно сжаты и казались твердыми той особенной белизной, в которую туманным днем превращается от крепкого мороза иней. Между тем женщина смутно припоминала, что нижняя губа его, особенно в предвкушении спора, умеет быть и другой, капризно-пухлой и очень розовой, точно румянец на щеках у большого ребенка. Однако удивительнее всего были ресницы – то частые и длинные, то едва различимые на почти голых веках. И лишь затылок его оставался самим собой: грубо скошенный от самого темени, помеченный у шеи внезапной сединой, он походил на запылившуюся лепешку смолы. По крайней мере, так думалось женщине. Руки чужака тоже было трудно спутать с чьими-то другими:

небольшие и юркие, как птицы, они производили странное впечатление. С одной стороны, такие руки вполне могли принадлежать человеку, который за всю свою жизнь ни разу их всерьез не испачкал землей, навозом или кровью, как и не натрудил, берясь за топор, мотыгу, ружье или плуг; с другой же – по какой-то неясной, подспудной, быстрой силе, таившейся в тонких пальцах, было легко распознать, что руки эти способны на все и уже многое из этого всего испытали. В отличие от лица, на них имелись шрамы. Шрамов было много, и они хорошо были видны сейчас, выделяясь прожилками на замерзших кистях. Кожа под ногтями стала лиловой, как у мертвеца, и об этом женщина подумала уже не в первый раз, глядя со своей половины на то, как чужак дрожит у очага и никак не может согреться.

За стеной мерно било по дереву острое железо и, смягчаемые снегом, топотали конские копыта. Внезапно женщина почувствовала слабость и сразу вслед за ней – жаркую боль, в которую, как в спрятанную яму, скользнула ее душа, столкнувшись с предчувствием. Ей вдруг почудилось, что где-то рядом шмыгнула ее собственная тень, которую чужак и не заметил. Лишь только пес напрягся, вскинул уши, кратко заскулил, потом поднялся и затрусил вокруг очага, внюхиваясь в пустоту и кося в ее сторону глазом. Предчувствие было таким настоящим, что женщина медленно осела, прошуршав плечом по косяку, и какое-то время не ощущала ничего, кроме слабого шевеления внутри себя. Только это была не жизнь, и она о том знала. Это было похоже на затерявшийся в чреве глоток, комочек хвори, отголосок постылого целомудрия, лишиться которого девять месяцев назад еще не значило от него избавиться.

Стиснув зубы и покрывшись крапинками пота, она давила в себе рвоту сомнения, проклиная себя за то, что не в силах совладать со страхом за совершенный грех, прекраснее и значительнее которого не было ничего в целом свете. Ее любовь к Хамыцу выливалась в нетерпимость ко всему, что мешало ей эту любовь проявить, помочь ей расцвести, взойти ростками новой жизни на берегу, где понести и вызреть возможно было только ей одной, жене Хамыца, да еще самой земле, если, конечно, та не утратила за триста полых лет способности принять в себя семя, облечь его своим первозданным теплом, побудить его прорасти и робким стебельком подняться по весне к заботливому небу.

То, что жиревшей от солнца, безделья и воды земле оказалось забеременеть проще, чем ей, представлялось женщине жесточайшей несправедливостью, ибо та даже не старалась, той было все равно, она просто валялась, как пьяная девка, посреди плоскогорья и дремала, оглохнув от старости, пока они прокладывали по ней неглубокие борозды и бросали в них семена чужака. Они взойдут уже к апрелю, так сказал вчера Хамыц, принеся с собой мягкое зернышко со светлой бородкой ростка. Выходит, жизнь в ней, в земле, уже забродила. И было это хорошо. Только при мысли об этом женщине становилось тошно, как если бы она сама была прокаженной и ее выставили напоказ перед здоровой и неумной красотой.

Размышлять о своей пустоте было невыносимо. Она ведь знала, что не бесплодна. Она ощущала это сквозь жаркую женскую силу, которой переполнялась ее страждущая плоть всякий раз, как они оставались вдвоем, она и Хамыц. Им просто что-то мешало. А может, чего-то им не хватало для того, чтобы зачать от греха и любви сразу, едва они, грех и любовь, сольются воедино, как сами тела.

Сперва была голая ночь, звезды и стекающая в нее звоном луна, потом – тростниковая хижина с набухавшими влагою матами (они дышали под ними тихой мечтой уплыть отсюда навсегда, в вечную теплую ночь), потом были кабаньи шкуры и дом, и пришелец, и настойчивая, бессонная тревога, потом был дом для чужака, потом наконец все должно было сделаться хорошо, но тут обрушился снег. Обрушился снег, и явилась зима, а в ней, женщине, тупо забились комком слепая хворь, и было это очень, очень, очень, очень плохо. Было это хуже, чем прежде, потому что тогда она еще могла надеяться, что причина сокрыта не в ней, а вовне. Теперь ей стало ясно, что все остальное тут ни при чем, а есть только собственный ее порочный изъян, разъятость нутра где-то в самой его глубине, в сокровенности чрева, в том средо-

точии плоти и души, где по-прежнему живо прошлое. И отныне ее ждала длинная, снежная, белая и пустая зима, сманившая зачем-то ее тень и готовая погresti под собой остатки их первого года у реки давних проклятий. Года, так и не сделавшего ее ни матерью, ни настоящей женой, а целиком ушедшего на то, чтобы учиться жить в соседстве со склепами у призрачной границы времени, отмечающей то ли исток его, то ли последний разлив – то ли волну, то ли пень. «А по весне что-то случится, – вдруг подумала она. – Пройдет зима, и с нами что-то произойдет, я это слышу. И тогда уже начнется что-то другое, только что – я не знаю».

– Дай чего-нибудь псу, – позвал чужак, повернув к ней свой профиль. – Женщина, покорми и собаку.

Не успела она дойти до кладовой, как дверь распахнулась и в хадзар вошли двое друзей. Хамыц держал в руках большой, с человечесью голову, кусок зернистого серого льда. Совсем мокрый, посиневший от холода, он радостно улыбнулся ей с порога. Тотраз встал у него за спиной и, поочередно прислонив к стене блестящий заступ и топор, снова выпрямился, потом, пошатываясь от усталости, спросил, обращаясь к чужаку – так, будто продолжал только что прерванный разговор:

– А как ты назовешь вот это?

Тот изумленно оглядел его с ног до головы, но, так и не обнаружив смысла в его вопросе, предпочел смолчать. Хамыц по-прежнему стоял и улыбался, не выпуская из рук своей ноши.

– Как ты назовешь то, что мы вдвоем нашли сейчас в снегу, хотя совсем того и не искали, хм? – настаивал Тотраз, а глаза его победно горели. – Как ты назовешь такое совпадение: двое мужчин копаются в снегу, чтобы разгрести завалы рухнувшего в ночь навеса, и каждый из них вдруг находит что-то такое, чего здесь не было ни прошлым летом, ни ушедшей осенью? Чтобы было легче, начни с того, что у него в руках. Ну, как ты это назовешь?

– Может, поближе поднести? – спросил Хамыц и, сверкнув зубами, весело подмигнул другу.

– Не стоит, – сказал Тотраз и сел у очага напротив Ацамаза. – Он у нас и без того все знает. Это для него не загадка, а – тьфу! Я прав?

Чужак кивнул и отвернулся от Хамыца. Теперь он снова глядел на огонь.

– Соль, – сказал он. – А вот что накопал под снегом второй – мне неизвестно.

– Ты смотри! – почти восторженно вскричал Тотраз. Хамыц бережно положил свою ношу на перевернутый жбан у стены.

– Заступом вырубил из стены, вместе со снегом, – пояснил он и сел рядом с псом. – Должно быть, здесь погреб когда-то держали. А я расколел лед и думаю: что за камень чудной? Вроде как горный хрусталь, только почему здесь, одиноким куском валяется, и где, думаю, та скала, что его отпустила? А потом подышал на него, отогрел, он и крошился краем, я языком лизнул – соль!

Он засмеялся и потрепал по холке пса, тот неохотно зарычал и чуть отполз в сторонку. «Чему радуется? – думала женщина. – Если тут был их погреб, значит, был тут их дом. Вот тебе и тень! Вон она откуда!» Ее охватило какое-то мстительное, радостное отчаяние оттого, что беда вдруг вернулась извне, и стало быть, хворь в ее чреве была лишь этой беды предчувствием. Или предчувствием памяти о чьей-то давней беде.

– Наверяд ли, – сказал чужак. – Нет. Ее бы давно размыло водой, коли размыло сам погреб. Только река сюда не добиралась.

– Стало быть?.. – не отступался Тотраз.

– Случай, – невозмутимо ответил чужак.

– Ну что я тебе говорил! – всплеснул руками Тотраз. Лицо его светилось азартом игрока, прячущего за спиной выигрышную карту. – Разве я в чем ошибся? Все ему нипочем! Упади ему за шиворот звезда, он только поедится да отряхнется, а после скажет тебе, что то лишь

случайность, рассеянность неба, ну или там – раззявость богов... Ничем его не проймешь! Твой черед. Пробуй ты.

Он раздраженно махнул рукой и вспугнул обугленной палкой очажные искры. Чужак сидел, чуть сведя брови на переносице, и спокойно ждал, когда заговорит Хамыц. Со стороны могло почудиться, что пламя вздрогнувшего огня занимает его куда больше, чем то, что он готовится сейчас услышать.

– Сказать по правде, мне б одному ее не найти, – заговорил Хамыц. Он сбросил с плеч бурку и вытянул перед очагом мокрый бушлат, защищаясь им от искр, а заодно – скрывая от чужака свою улыбку. – Да что там одному! Нам и вдвоем такое не откопать, даже если очень стараться. Потому как, сам рассуди, копать человек берется там, где он надеется на что-то наткнуться. Или там, где что-то уже ищет кто другой. Но в том и штука, что никто из нас не искал и не надеялся, покуда помощь не подоспела...

Он пересел на корточки и, выдерживая паузу, снял шапку, сунул ее под мышку, сложил бушлат вдвое и, кряхтя, отер им свою бритую голову. Снова надел шапку, расправил бушлат, разостлал его перед собой на глиняном полу и сказал:

– Сдается мне, тут уж будет ему угадать посложнее...

– Угу, – подтвердил Тотраз. – Сам-то он там, поди, тоже все утро провел, однако ж вот не сподобился...

– Оно и не мудрено, – кивнул Хамыц. – Потому что в этом деле он ничуть не лучше нас. Такой же, как мы.

– Или как кони, – вставил Тотраз. – Каждый из них.

– Вот-вот, – сказал Хамыц. – Или как пес.

Теперь все они, включая женщину и собаку, не сводили с чужака глаз. Тот упрямо смотрел в костер и молчал, стараясь не верить тому, что подсказывал ему их разговор. «Боже мой, – прошептала женщина. – За что мне эти муки?! Если кто тут и проклят, так это я... Теперь вот еще и кобыла!»

– Ну? – спросил Хамыц и опять подмигнул, но уже не ей, а другу. Потом снова перевел взгляд на чужака и повторил: – Ну? Что скажешь?

Тот разом как-то осунулся и сник. На секунду к женщине вернулось чувство жалости к нему, которое она испытала незадолго перед тем, наблюдая за его бьющейся в ознобе спиной. Сейчас это чувство было искреннее и добрее. Чужак опустил голову на руки и помолчал еще немного, пока каждый из них по очереди не ощутил неловкости за то, что не может придумать за него ответ, который бы дал ему возможность не утратить достоинства. Когда тишина сделалась тягостной, как стыд, и звонкой, как тревога, он поднял с пола пустую миску, повертел ее в руке, потом смерил взглядом мужчин и сказал:

– На кого самый большой черепок покажет – того и жеребенок...

Потом с размаху швырнул миску в стену. Она разлетелась вдребезги и спугнула с места залаявшего пса. Обернувшись, мужчины следили за тем, как стремительно вращается перед ними ее расколотое днище, а потом вдруг быстро, разом, замирает, выставив свежим порезом почти ровный осколок туда, где сидит Тотраз.

– Тебе повезло, – сказал чужак. – Выходит, твой был конь. По весне ты сильно разбогатеешь. Можешь считать, что это судьба, а не случай. Попробуй втолковать это моей кобыле, которую покрыл твой конь. И не верь, если она заупрямится и будет кивать на другого. Коли выпало на тебя, значит, так тому и быть: твой конь и есть тот, кто покрыл ее по судьбе, а не по пустяковому случаю. Хоть у него, у Хамыца, тоже резвый скакун имеется, а не какой-то там мерин. Осталось лишь отыскать во всем этом высший, правильный смысл. Только и тут за тобой дело не станет. Верно?

Произнеся это, он поднялся, накиннул на плечи бурку, коротко попрощался и сразу ушел. Голодный пес, клацнув клыками, выбежал вслед за ним.

– Гяур, – процедил сквозь зубы Тотраз. Щеки его покрылись темными пятнами. От былой радости не осталось и следа. – Когда-нибудь он палку перегнет...

– Нет, – возразил Хамыц, – он дал понять, что палку перегнули мы... Принеси поесть, – тихо добавил он, и женщина метнулась к кладовке.

Собирая на стол, она видела перед собой с какой-то четкой, но зыбкой маревом ясностью то, как это все происходило: вот они, двое мужчин и друзей, разгребают за южной стеной снежные завалы, а потом один из них, тот, с кем она тщетно делила ложе, замечает вдруг, что кобыла упрямо возвращается к углу своего недавнего плена и принимает к снегу взволнованными ноздрями; потом двое людей, заподозрив неладное, принимаются орудовать там заступом и топором, пока не выковыривают из земли толстую голову соли, а затем второй из них начинает приглядываться к кобыле и спустя минуту толкает первого в бок, мол, неужто в самом деле? И вот они подносят к ее морде соль, наблюдая за тем, как она жадно слизывает с трехсотлетнего камня предательский зернистый соблазн; пока она это делает, они обходят ее со всех сторон, ощупывая опытными пальцами брюхо, по которому еще ничего не видать, но уже можно почувствовать новую, мягкую тяжесть. И тогда они стовариваются о том, чтобы его разыграть, потому что самая мысль, что их жеребец (не важно, *какой* из них, важно, что *их*, и важно, что, может, не *один* даже, а *оба*) покрыл его лошадь, самая мысль эта для них слаще меда – ибо оба они мужчины, как и сам чужак, против которого, да, им никогда не совладать, пусть так, зато вот можно, ты гляди, покрыть его кобылу, выходит, жеребцы оказались проворнее своих хозяев, и теперь те спешат в дом, чтобы насладиться его поражением, которое он для себя на сей раз даже не выбирал, а потому проиграл вдвойне, проиграл слишком явно и неожиданно, чтобы суметь найти достойный ответ в изматывающем молчании, однако это ему все же удастся – ответить, то есть проиграть так, чтобы выиграть у него для них стало равнозначно унижению, и ради этого он ставит жеребенка на кон и на мгновение превращает их в соперников, и, конечно, не родившийся покамест жеребенок выпадает жребием тому, кто только и должен стать жертвой – жертвой случайной удачи, потому что насмешка для него уже готова, уже сочинена, она сильнее, чем удача. И теперь в нем беззвучным ревом беснуется шальная ненависть, которой в нем больше сейчас, чем даже в женщине – по отношению к судьбе, земле, кобыле или своей горделивой крови, – но ненависти этой все равно ему не хватит, чтобы выбежать в дверь и, догнав обидчика, поквитаться с ним, как с тем несчастным слепцом, что выскочил с клюкой перед ним на дорогу, потому что, думает она, из ненависти не убивают, из ненависти только мечтают убить, убивают по глупости, из страха, по ошибке и из мести, да, а для мести надобно время, нужно время и расчет. И, пожалуй, еще кое-что: сочувствие тех, кто всему этому станет свидетелем, а вот этого-то ему от них не дожидаться. Этого ему не дожидаться даже от самого себя.

Собирая на стол и вслушиваясь в поднявшийся за стеной ветер, она думает о том, что всем им стало стыдно, всем четверым, вот и все, чего они добились своей гордыней. А потом слышит один за другим два выстрела. В помещении делается тихо и пронзительно, как в разорванном сне. Им удастся переглянуться и тут же отвести прочь глаза. Это может быть конь, кобыла или конь Хамыца, а может, два коня или же конь и кобыла разом. Если так, то теперь ему мести не избежать. Неужто он их все-таки вынудил? В лице мужчины она читает тоску. Просто чтобы уйти от молчания, он говорит:

– В кого, по-твоему, он там палил?

Конечно, он спрашивает друга. Вид у того такой, словно он только что ненароком перепрыгнул через собственную тень.

– Не знаю. В кого б ни метил, – коли он попал и попал оба раза, могу догадаться, каким будет третий выстрел.

Он встает и резко, будто опасаясь передумать, идет к стене, на которой висит его длинное, с заиндевелым от холода дулом, ружье.

– Погоди, – просит Хамыц, и всем им ясно, что просит только потому, что этого хочется другу. – На него оно непохоже.

– Вот как? – спрашивает Тотраз, и в голосе его им слышится не столько злость, сколько безысходность. – Непохоже, говоришь? А что же на него тогда похоже? Кто из вас возьмется мне растолковать, что на него похоже, а что нет? Ты вот, к примеру, знаешь что-нибудь такое, что на него непохоже? По мне, так на него похоже ровно столько, сколько непохоже. Но это бы еще ладно, еще ничего. Другое плохо: пройдет минута и может поменять их вмиг местами. Я знаю лишь одно: когда он не спит, на него похоже что угодно. Сдается мне, как раз сейчас он не спит, потому что даже ему, чтобы дойти по этому снегу от нашего порога до своего, взять ружье, спуститься с ним туда, откуда можно примериться к цели, взять ее на мушку, а потом дважды нажать на курок, быстро воротиться назад, лечь на заледенелую шкуру, закрыть глаза и заснуть, времени больше надобно, чем он истратил на то, чтобы выйти отсюда, сочинить, в кого стрелять, сходить за ружьем, прицелиться, пальнуть два раза и ждать, пока кто-то из нас не пойдет поглядеть, в кого он там метил. Сдается мне, сейчас он ждет меня...

Проверив и зарядив, пока говорил, ружье, он направился к выходу.

– Никого он не ждет, – сказала вдруг женщина, и от внезапности Тотраз остановился, замер на пороге. Она смотрела не на него, а прямо на Хамыца. Тот скривил губы, будто у него занули зубы, и медленно поворачивался к ней, давая ей время опомниться и скрыться на женской половине. Однако взгляда она не отвела, хотя тоски в глазах мужчины было теперь больше, гораздо больше, чем прежде – столько, сколько воды в хорошем дожде. Взглянув на нее наконец и поняв, что она не уступит, он нащупал взглядом точку у нее на груди и осуждающе покачал головой.

– Пускай говорит, – сказал Тотраз, снова прикрыв бившуюся на ветру дверь, и тут всем им сделалось чуточку легче.

Почесав подбородок, Хамыц выдержал паузу, хмыкнул, пожал плечами и едва заметно кивнул.

– Вы забыли про пса, – сказала женщина. – Он единственный, кто тут совсем ни при чем. В кого другого стрелять он не станет.

И теперь они поняли. Тотраз обмяк всем телом и устало прошаркал обратно к стене. Пока он осторожно разряжал ружье и вешал его на место, у Хамыца и женщины было довольно времени, чтобы бережно встретить друг друга глазами и вновь ощутить, что опять спасены. Уже не таясь, мужчина почти с восхищением смотрел в ее спокойную мудрость, которой не учатся и не завидуют, а вместо того лишь внимают и подчиняются, как истине, открывшейся ясно и громко, как летний утренний свет. «Она права, – думал Хамыц. – Потому что она ее даже не пробует вычислить или понять. Она ее просто чувствует, как радость, как боль или страх. Выходит, правда всегда при ней?..»

Им бы такое и в голову не пришло, невзирая на их принадлежность к роду мужскому. А она вот смогла – не понять, а почти воочию прозреть то, что затем, после ее подсказки, открылось им с очевидностью неотвратимого: по сути, метя в пса, чужак стрелял в себя, убив единственное верное ему существо, более преданное, чем даже собственная тень его, готовое дено и ночью служить его одиночеству, которое убить он права не имел. Должно быть, это было предписано ему его отчаянием и упрямством. Похоже, они были в нем неразлучны еще за много смертей до того, как он явился сюда. Будь наоборот – и пес бы не пострадал. Возможно, пес уцелел бы, будь там одно лишь отчаяние. Упрямство – вот что его погубило. Стреляя в пса, он возвращал себе безмерность одиночества. «Вот оно, – подумал Хамыц. – Она почувствовала это, как запах. Запах воска». Стреляя в пса, он избавлялся не от собаки, а от привязанности ее и покорности, день за днем без всяких слов растравлявших ему душу теплом и беспокоивших давнишнюю унылость сердца, постепенно делая его, чужака, уязвимее и слабее (да, так и есть: уязвимее и слабее, потому что в миг первой встречи у них не хватило

духу даже на то, чтобы опознать в нем хотя бы гостя, а уже нынче они ему смогли дерзить, словно он незадачливый сосед, над которым незазорно и подтрунить), ибо в нем подспудно просыпалась предательская надежда. Да еще то, что, словно ложь или запретный плод, никак не удержалось бы надолго на его бескровных губах – вкус к жизни. К обычной человеческой жизни – с громом в сердце, слезами в душе и с мыслью о завтра.

– Самодовольный глупец, – сказал Тотраз. – Что он там о себе возомнил?! Словно на него управы нету...

Он произнес это чересчур убежденно, чтобы они поверили в искренность этих слов. От голода и нетерпения у Хамыца засосало под ложечкой. Жестом предложив другу сесть, он потянулся к еде. Женщина скрылась за пологом, и Хамыц почему-то решил, что сейчас она будет плакать.

Тотраз едва притронулся к пище. Лицо его раздумянилось и чуть лоснилось от пота. Сидеть и молчать ему было невмозготу, и это было заметно. Если бы не полная абсурдность этой мысли, Хамыцу могло показаться, что друг его завидует чужаку.

– На хрена он мне сдался, – сказал Тотраз, – его жеребенок...

Чтобы не встречаться с ним взглядом, Хамыц оглядел потолок, повел лопатками, а потом уставился на его трехпалую кисть – большое, беспокойное существо без глаз.

– Я откажусь, – сказал Тотраз. – Я пошлю его к... Пусть палит потом еще и в треклятого сосунка.

«Пожалуй, пса ему жалко больше, чем мне», – подумал Хамыц.

– Не вынуждай его делать и это, – сказал он вслух. – Мы перегнули палку... Пожалей жеребенка. Он-то здесь при чем?

Зная, что не дождется ответа, он легонько коснулся другова плеча, поднялся на затекшие ноги и ступил за полог из шкур вслед за женщиной.

Она стояла на коленях спиной к нему, сложив перед грудью руки, и о чем-то молилась. Когда она обернулась, глаза ее были сухи и как-то слишком серьезны, словно она только что услышала пророчество и подготовилась сделаться старше на целое горе.

– Как ты думаешь, – спросила она его, – они здесь и вправду жили? Тоже дом, тоже погреб?

– Нет, – ответил он. – Ты же слышала, что говорил чужак... Река сюда и близко не подступала. Призраки нам не страшны.

Хамыц сказал и подумал: я не имею права не верить в это. Я должен верить в это сам. Только так я заставлю поверить их всех.

Ветер за стеной разгулялся не на шутку, но все щели были тщательно замазаны и законопачены на совесть, так что метель проникала сюда лишь отголосками крепчавшего гула. Их дом стоял достаточно прочно на этой странной земле, которая только что в довершение всех испытаний обагрилась и первой кровью – безвинного черного пса, с которым Хамыц не так давно делил умное спелое утро. Тогда они ведать не ведали, что будет столько снега и что где-то под ним, как серый залог беды, будет прятаться огромная соляная голова.

Укутавшись башлыком и завернувшись в бурку, Хамыц вышел за порог, чтобы привести на ночь в дом коней и беременную кобылу. Признаться, люди не сразу заметили, как к ним в очаг спустился первый зимний вечер, чуть тронул пламя прохладной рукой и кротко свернулся перед ним на глиняном полу в рыжее пятнышко. День прошел – и слава Богу!..

XIX

Когда они снова вошли в его дом без дверей, чужак развел огонь и присел перед ним на корточки, погрузившись в раздумья. Пес улегся с ним рядом, но, чувствуя, что хозяину уж слишком нехорошо, время от времени в тревоге вскакивал на лапы и совершал бессмысленные круги по комнате. Несколько раз, проходя мимо человека, он словно бы ненароком задевал его хвостом. Увидев, что тот не рассердился и остался недвижим, пес ободрился и впервые позволил себе то, на что прежде, зная хозяина, никогда не осмеливался: приблизившись к нему вплотную, он осторожно лизнул ему руку. Потом еще и еще раз. Человек перевел на него взгляд, но, увидев, как тот предусмотрительно и виновато поджал оба уха, не только ничего не сказал, но даже не убрал руки. Вместо этого он вдруг чуть цокнул языком, и тогда, чтобы проверить, пес робко вытянул морду перед его коленями, и тут случилось то, о чем он не смел и мечтать: человек ласково потрепал его по холке и провел ладонью по спине. От такой радости пес захмелел, полуприкрыл веки и, чтобы не спугнуть руки, приказал своему телу превратиться в бесчувственный древесный ствол. Лишь хвост легонько вздрагивал и до последней капли ловчился удержать на своем кончике щекочущий сладостный трепет. Потом ладонь устала, остановилась, и по тому, как она начала вновь наливаться чужой какой-то, не своею тяжестью, пес понял, что хозяин опять задумался о чем-то трудном и слепом, чего ни разглядеть в своем подвижном четком воображении, ни унюхать своим надежным глазастым чутьем пес не мог, как ни старался. Дважды он мелко переступал лапами, вдавливаясь боком в колени человека, но рука все равно соскользнула с выгнувшейся под нее спины, повисла вдоль тела и равнодушно умерла. Животное испуганно застыло, потому что ощутило вдруг, что оказалось совсем одно в этой холодной, глухой и враждебной комнате, несмотря на то, что хозяин был тут и, судя по всему, никуда уходить не собирался. Однако то, что он ушел, пес знал точно. Его хозяин умел уходить, оставаясь на месте. Он уходил далеко-далеко, дальше сна или света, потому что там, куда уносило его из себя самого, не было ни света, ни запаха, ни даже слуха.

Чтобы прогнать тревогу, пес снова затрусил вокруг очага, меняя направление движения и обходя огонь то с одной, то с другой стороны, словно пытался нащупать след ушедшего из себя человека. Так и не справившись с этим, он опустил пристыженно морду и, сурово наказывая себя, начал внюхиваться в бродивший по полу колючий холод. Краем глаза он следил за хозяином, но тот оставался недвижим и только глубоко и ровно дышал. Вернее, дышал не он, а какая-то могучая, опасная сила в нем. Она разрасталась и пугала пса, потому что ее становилось все больше, а хозяин не возвращался. Пес заскулил – тихо, и все же настойчиво, чтобы человек очнулся и снова вошел в себя. Дальше безропотно ждать и ничего не делать было нельзя: что-то, очень похожее на собачье чутье во время охоты, безошибочно подсказывало псу, что еще немного – и для его хозяина в этом громко дышащем теле уже не останется места. Человек глубоко и хрипло вздохнул, положил ладони на колени и, вмиг вспотев от тяжелого внутреннего труда, притворился, что уже здесь. Пес настороженно глядел на него исподлобья и не верил. Человек прочистил горло, хотел было что-то растолковать, но передумал и сплюнул все невысказанные слова напрямик в очажную злость. Выпрямился во весь рост и вдруг сделался очень высокий, каким бывал для пса лишь по утрам. Потом подошел к порогу, нагнулся и зачерпнул пригоршню свежего снега, забившего поземкой им же оставленный след. Пожевав снег, он забыл слизнуть его крошки с посиневших от холода губ, снял со вбитого колышка ружье и снова направился к выходу. Пес опять заскулил, но уже обиженно и громко, постоял, перебирая лапами, у огня, однако потом покорно двинулся следом.

Все было почти как всегда и очень похоже на то, что они идут на охоту, хотя охотой это определенно не было. По крайней мере, к такой охоте под вечер и в глубоком, как воздух, снегу пес готов не был. Пока он бежал за ним, подминая грудиной мягкий упругий снег и попадая

в путь, проложенный высоким и прямым, как скала, человеком, пес убеждал себя в том, что это он, его хозяин, и есть. А может, они просто идут туда, где тот стоит в снегу и ждет их, чтобы вернуться обратно. Конечно, пес не был в том уверен, но твердо решил про себя, что будет не отставать, потому что если тот, за кем он бежит, идет к его хозяину с тем, чтобы того убить, пес должен успеть перегрызть ему глотку прежде, чем он вскинет вот это ружье в два ствола.

Однако постепенно, чем дальше они отходили от дома, тем больше пес успокаивался, потому что с каждым шагом человек незаметно, едва уловимо, но совершенно явственно для собачьих ноздрей превращался в себя самого. Сквозь ровно и чисто падавший снег пес различал, как от движущейся спины перед ним начинал исходить знакомый запах хозяина – тот особенный, неповторимый запах боли, который в ком-то другом повстречался псу лишь однажды – не полностью, не до конца, а слабой ниточкой воспоминания. Он был похож на запах выступавших слез на глазах у подстреленной человеком и придушенной затем его, пса, клыками косули в лесу. Только в случае с хозяином это никогда слезы не были, а потому пес присмирел и застыдил, когда человек встал, обернулся, и он увидел, что глаза у него сделались близорукими, как у раненого зверя.

Торопливо, каким-то недолжным, рваным жестом человек скинул с плеча ружье, отвязал непослушными пальцами тесемку на шее, уронил бурку в снег и поднял ружье на уровень взгляда, в котором прочитывать что-либо, кроме обреченной решимости, было нельзя. Пес растерянно огляделся по сторонам, не в силах понять, в кого будет метить хозяин, а потом, ошпаренный догадкой, отпрянул вдруг в сторону, увязнув по уши в сугробе и тут же оглохнув всем тем, что было вне его сердца и мозга, который вмиг стал теперь как бы слишком велик для собачьей головы и застучал в его висках горячей взбесившейся кровью. Пес вскинул передние лапы, с трудом выбрался из сугроба и, отряхнувшись по глупой привычке, поднял глаза на хозяина. Из всех сил он пытался ему помочь и, в последний раз доказывая преданность, призывно зарычал, торопя с выстрелом. Услышав свой голос, он вновь разбудил окостеневший было хвост и только тут опять почувствовал себя настоящей собакой, а в груди у него тонко взвизгнула радость. По его глазам он видел, что поступить иначе хозяин не может. Теперь между ними витали только снежинки да расплзался повсюду вокруг почти невыносимый уже для его собачьего нюха запах – боли.

Первым выстрелом пса отшвырнуло на пару шагов вверх по вытоптанной ими же тропе, но жизнь его не отпустила. Она лишь удивилась своему полету и тому, как он быстро закончился; ей так сильно хотелось его продолжить, что она лихорадочно забилась в уже тяжелеющем теле, хватая и тряся его за вытянувшиеся струной лапы, но не сумела уговорить его даже подняться, а потому заскулила и сникла, взглянув напоследок на оживший темнеющий снег, протекла в него теплой струей. Потом что-то взорвало ее изнутри и разможило собачий череп. И сразу все сделалось красочно и легко. Особенно красив был снег. Оказывается, вот это и есть красное...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Издали оно казалось живым. Река долго несла его на своей терпеливой спине, разминая, словно тесто, ладонями каменистых порогов, пока не вкатила на поворот, где несколько секунд оно цеплялось – не столько за острый валун, сколько за подобающую ему самому неподвижность, – но потом мягко свалилось в пучину, целиком растворившись на миг в белой пене, чтобы вынырнуть затем в десятке шагов вниз по течению. Скользя по обманчивой глади, оно обретало легкость и резвость волны, а заодно – позабытое здесь проворство мгновения: оно дробило сонную прозрачность воды, застывшей в монотонной неизменности времени, на череду ленивых усилий, благодаря которым река смогла донести его сюда, до подножия Зеркальной вершины, к вечеру ясного теплого дня, того весеннего, широкого, яркого дня, когда в воздухе еще отчетливо пахнет зимой, но уже ощутимы запахи лета.

На подступах к водопаду русло выравнивалось в плоскую ленту искристого света. Попытавшись увязнуть в ней, тело дрогнуло, плавно перевернулось на живот, неспешно поворотило к речной обочине, уткнулось головой в прибрежный кустарник да там и замерло. И почти тут же в гору вошел закат, повиснув солнцем в рогатом проеме вершины. Покуда он длился, покрасневшее от натуги светило медленно втискивалось, сползая по скалам, в блаженство водной прохлады, предусмотрительно ощупывая ее чувствительными пальцами лучей. Все это время тело чуть колыхалось в зыби уставшей волны, отринутой громадой течения, и, казалось, всматривалось пристально в близкое дно, даже не пытаясь раздвинуть колючую поросль раскинутыми в сторону руками. Сверху, с расстояния в двести шагов, угадывалось, что лица у тела нет.

В быстро прибывающей полутьме человек спустился к реке, скинул с плеч бурку, преодолел, прыгая с камня на камень, оставшиеся препятствия на пути к незаметной доселе запруде, подобрался к кустам, склонился над ними, взгляделся в бледные очертания дрейфующих рук, снял шапку, отер ею вспотевший лоб, зачем-то встал во весь рост, отряхнул шапку о колено, помял, потом в досаде отшвырнул ее на берег. Снова припал к земле и осторожно потянул тело за руку. Оно охотно послушалось, придвинувшись к нему правым боком, и он отметил про себя, что тело похоже на крест: ступни словно приросли одна к другой и почти не расходились при перемене телом своего положения. Несколько минут он собирался с духом, чтобы проверить то, что уже и так не вызывало сомнений, – наверно, из-за затылка, по которому (человек это понял тогда еще, когда лежал в двухстах шагах вверх отсюда на травянистом склоне и ждал закат), оказывается, возможно – непонятно как, но – определить, если что-то не так с лицом. С этим лицом было очень не так, потому что лица не было вовсе.

Вместе с ним труп лишился и возраста, не говоря уже об имени или других столь же неважных теперь вещах, как, к примеру, история его жизни или история гибели: их смыла вода, будто какую-то грязь, где-то очень не близко от этой запруды. Река смыла их, отстирав в своем размеренном равнодушии и уподобив лицо извечной своей, неизбежной волне – мириадам волн, настолько неотличимых одна от другой, что первым делом взгляд принимал их за единое существо без конца и без края. Вода внушала мысль о том, что вечность – это и есть отсутствие времени. А может, это ослепшее время, которое просто устало смотреть. Длительный сон движения, где нет никаких снов. В любом случае, река была ожиданием – смутным ожиданием давно позабытой цели, а то и ожиданием нового ожидания, а может, ожиданием ничего, кроме разве что самого ожидания, чья суть была – река.

Лицо, которого не было, походило на сильно распухший кулак. Кое-как справившись с отвращением, человек заставил себя развернуть труп, подтащить его к берегу, подальше от кустов, затем уцепился ему за шкурку и, оскальзываясь, выволок тело на камни. Прodelав это, он решил передохнуть, брезгливо отступив на расстояние собственной тени, такой длинной сейчас при угасающем свете солнца – оно успело уже нырнуть по самую макушку в поддон темнеющей реки, – и призадумался. На его удачу, труп не смердел: смердит, как известно, время, а оно из него давным-давно и без остатка вышло. Человек подумал, что в своей жизни не видал ничего более пустого и напрочь лишённого содержания. Даже смерть тому не помогла. Разбухнув в трупе, она лишь заполнила изнутри его одежду противными вялыми пузырями, но теперь смерти в нем оказалось будто бы слишком много, словно сала в свинье, отчего никакого ужаса или сострадания тело не вызывало. Это была не та смерть, что отбирает жизнь у тебя на глазах, а смерть особого рода: что жизни уже и не помнит.

Человек думал до самого темна, но, видать, ничего не надумал, потому что встал лишь за тем, чтобы поднять с берега бурку, а потом, чуть пройдя по тропинке наверх, отыскать траву помягче и расположиться в ней на ночлег. Труп он не покинул.

С рассветом он встал, умылся ледяной водой из реки и, несмотря на влагу, пропитавшую за ночь одежду, почувствовал себя почти счастливым. Спустившись к трупу, нащупал на его черкеске отверстия для газырей, вложил в них несколько собственных, отобрав поярче и покрасивей, не забыл перед тем пересыпать из них порох в кожаный карман своего пояса, постоял, почесывая затылок, вздохнул с сожалением и, перестав наконец колебаться, оторвал от своего башлыка тонкий неровный лоскут. Смочил его в воде, бросил под ноги и растоптал. Потом он прополоскал его в реке и, стараясь не смотреть в то, что, скорее, напоминало ладонь, нежели чье-то лицо, просунул лоскут у трупа под головой и повязал его слабым узлом. После чего закатал себе рукава и потащил тело к запруде. Уткнув его вниз головой в прибрежные кусты, придал трупу его первоначальное положение, разулся, приглядел камень побольше и, ступив в холодную воду, установил его за мертвецом по направлению течения реки, чтобы того не снесло шальной волной, даже если вдруг грянет ливень. Закончив труды, он стал карабкаться вверх по скале, туда, где лежал вчера, сторожа закат. Утро как раз набирало силу, и он с радостью подумал, что наступает новый день. Самый новый день в его жизни. В последний раз взглянув на Зеркальную вершину, он тихо затянул тонкую и невесомую мелодию, потом решительно тряхнул головой и зашагал туда, куда глаза глядят. Они смотрели на запад, в ту сторону, где обычно таял закат...

II

Подарив трупу свое имя и возраст, человек стал свободным. Это чувство было сладостным и пьянящим. Его не с чем было сравнить. Следуя день за днем по горным тропам и обходя стороной людские поселения, обнажаясь при звуке наступающего дождя, впивая горячей кожей его первозданную свежесть, утоляя жажду в сотнях родниковых приютов, он пробовал объяснить себе то, что с ним сейчас происходило. Он вдруг понял, что идет не по тропе и дороге, а как бы по целому миру, потому что с такой свободой, как у него, просто в тропу или дорогу было не уместиться. Еще он знал, что никакая тропа ее не насытит и что отныне ему придется немало поскитаться, прежде чем он найдет прибежище для того простора в груди, который переполнял ее с того самого утра, когда он отдал безликому мертвецу все то, в чем сам не особо нуждался, в обмен на то, о чем никогда всерьез не мечтал: на новую жизнь, в которой волен был выбирать не только любую дорогу, но и любую сказку о том, как на эту дорогу вышел. Приняв крещение от распятой рекою смерти, он ощутил себя вне пределов судьбы, потому что у его свободы никаких пределов не было. По крайней мере, он о них ничего не знал.

Наслаждаясь ею и окружавшим его заповедным молчанием, он понимал, что к свободе, как к большой и голосистой чужбине, нужно привыкнуть и приспособиться. Птице тоже надобно время, чтобы выучиться управлять крылами. Он привыкал, погружаясь все дальше в девственную глубь лесов и бесцельно бродя по горам. Слушая звезды и ветер, он многое открывал в себе самом. Ему нравилось охотиться, отстреливая по кустарникам дичь и ловя на острогу форель. Он питался земляничными ягодами, вкуснее которых была лишь звенящая всюду весна, и срывал со стволов кору, пахнущую спокойной душистой памятью, так не похожей на ту, которой мучились люди.

С каждым днем весна становилась все больше, сильнее, и радости от этого у него на душе прибывало ровно столько, сколько ей оставалось не в тягость. За эти дни он немало постиг. То, к примеру, что можно жить, не беспокоясь о хлебе насущном: когда идешь не по тропе, а по миру, с чувством голода приходит и способ его утолить. Горы, лес и вода оказались к нему непривычно щедры, одаривая мясом, тенью, костром, рыбой, ягодами, водой и хвоей как раз в те часы, когда он в том особо нуждался.

Однажды он подглядел, как спариваются олень и лань, и было это трогательно и просто. Потом лань ускакала в чащобу, а олень еще долго бродил вокруг пятачка, где они любились, и жадно вдыхал ноздрями пахнувший ее лоном воздух.

В другой раз человек наткнулся на небольшое кабанье стадо. Вспугнутое невидимыми охотниками, оно пронеслось в каком-нибудь шаге от него, а он недвижно стоял, удивляясь себе и тому, что в нем не было страха. Не было вообще. Словно он растерял его до последней крупички где-то по пути сюда. В тот день он снова увидел людей.

Взобравшись на бук и укрывшись в кроне, он переждал, пока тройка охотников покажется вдали, минует этот участок леса и скроется в тенистых зарослях приближающегося вечера. Странно, но даже сидя на высоком дереве, он мог слышать, как очень далеко шуршат, толкая землю, их шаги. Наверно, что-то произошло с его слухом тоже. Он стал острее, чем прежде.

Человек почти не колебался, принимая решение. У него заканчивался порох, а следовательно, нужно было его раздобыть. Он крался за ними до ночи, пока разочарованные незадавшейся охотой люди не разбили у лесной речушки ночлег. Потом он выждал, покуда их сморит сон, и неслышно пробрался к их сумкам. Забрав пожитки (одну сумку ему пришлось вытаскивать прямо из-под головы, но страха так и не было, как, впрочем, не было и стыда), он отошел на полсотни шагов, послушный направлению ветра, и, подставляя извлекаемое содержимое под мерцание плотного месяца, тщательно отобрал то, что было нужно ему позарез (порох,

соль, большущий нож, бечевку, два огнива), а то, без чего вполне можно обойтись, побросал обратно. Потом подвесил сумки на ветви ближнего дерева и двинулся своей дорогой дальше.

Вскоре смоль в его щетине загустела стальной бородой, а глаза научились бродить в темноте. В сущности, настоящей темноты ни в лесу, ни в ночи не было, никогда ее столько не набиралось, если не считать той пещеры, что обнаружил он на северном склоне горы, у которой едва было не напоролся на всадников, чьи силуэты возникли перед ним внезапно, будто оброненные на скалу сгоревшим закатом три черные головни. В тот пасмурный день, сплошь заклеенный тучами, к разговору с людьми он готов по-прежнему не был, а потому, заметив провал пещеры, вкатился в нее, распластался у входа и вскинул ружье. Иностранцы гортанно смеялись, неспешно спускаясь с горы к низовью реки – там тянулась дорога, – покуда он молился богам за то, что ему не пришлось в них стрелять. Мысль, что он мог на это пойти, не подивила и не расстроила. Похоже, она даже к нему не пришла. Вместо нее его посетила другая: о том, что им всем повезло, и вот она-то, пожалуй, была важнее, правдивей любой другой. В той пещере было действительно очень темно.

Бывало, по ночам к нему на свидание являлись кошмары. Проснувшись, он стряхивал их рукой со взмокшего лба, смотрел в глубокое днище неба, поворачивался на другой бок и засыпал опять, но уже по-настоящему: как спит лесной зверь, когда ему снится охота. В конце концов, ему почти это удалось – отделаться напрочь от памяти. Ведь она ему, по сути, уже и не принадлежала, а значит, сам он тоже не мог ей принадлежать.

Порой он начинал пробовать на вкус людские слова, будто предчувствуя, что они ему еще пригодятся. Какие-то из них были лишними, потому что ничего толком не означали. Их было много. Больше, чем остальных.

Особенно он полюбил грозу. Вопреки правилам и запретам, он садился под ствол самого высокого из деревьев и завороченно смотрел ей в глаза. Иногда ему казалось, что она сильнее всех в целом мире. И даже сильнее небес. Низвергающаяся с них вода была теплой, как слезы, и шумной, как плач. Он любил грозу и совершенно точно знал, что она его не убьет.

Но грозы скоро кончились и уступили место обычным дождям. Те тоже были по-своему хороши. Но, конечно, не могли сравниться с рекой. Той самой, что помогла ему найти труп и свободу. Рядом с ней хорошо было жечь костер и слушать негромкую вечность.

Охотник он оказался удачливый, чего в прежней жизни за ним не водилось. Твердой рукой он быстро скидывал с плеча ружье, прицеливался и мягко нажимал на курок, испытывая неподдельное удовольствие от каждого добротного выстрела. Главным на охоте была уверенность. То неприметное, но незаменимое чувство истинности движений, что свойственно, например, доброму хозяину, встречающему в своем доме друзей. Уверенность и спокойствие – вот что необходимо. Только не поспешность и злость. Не говоря уж о страхе. Слава богам, он его позабыл.

Все шло как нельзя лучше. Лето было уже в полном разгаре и даже потихоньку выдыхалось на залысинах скал в послеполуденный сероватый зной, когда он успел исходить вдоль и поперек два ущелья и выбрался к склону, откуда открывался вид на низину, на которой сплетались в узел несколько дорог. Соединившись в одну, они устремлялись к большому кривому пятну, закрытому дымкой тумана. То была крепость. Ничем иным это быть не могло.

Следя за тем, как снуют туда-сюда бесчисленные повозки, арбы, брички, всадники, экипажи, как медленно семят муравьями темные точки путников, он хмурился, ощущая, как к нему возвращается шаткое чувство тревоги. В конце концов, он повернул назад и снова углубился в лес. Несколько дней он честно сопротивлялся, однако картина крепости перед его глазами не исчезала. Чтобы избавиться от навязчивого видения, он вспоминал, как много недель назад, еще по весне, далеко от этой развилки наблюдал из засады за приближающимся обозом в несколько телег. Прямо над обрывом, в том месте, где проселочная дорога переходила в навесной мост, у одной из телег отвалилось колесо. Возница успел перелечь на про-

тивоположный борт и выправить крен, но один мешок все же сорвался в пересохшее русло реки. Колесо застряло в зарослях можжевельника на расстоянии полутора десятков аршин. Оно висело над пропастью и покорно ждало людей. Зацепив его железным крюком, подвязанным к веревке, они выпростали его наверх и сообща приладили к телеге. Возница хотел было уговорить спутников подсобить ему еще раз, спустив его самого на дно русла, однако у торопившихся дальше товарищей поддержки он не нашел. Развернуться в том месте не было никакой возможности, так что он вынужден был уступить, и телега двинулась дальше.

Когда обоз скрылся вдали, человек вышел из укрытия, спустился к мосту и заглянул с него в пропасть. Над рассыпанным зерном уже кружили птицы, и с каждой секундой их становилось все больше. Странное то было зрелище: сотни черных и серых птиц, переставших летать и только жадно клюющих жито. Через пару минут их было не меньше тысячи. Зерна было вдоволь, но подобраться к нему могла уже не всякая птица, а потому очень скоро между ними завязалась война. Пока те, кто в ней участвовал, бился за право оказаться у самой кормушки, остальные в лихорадочной, но расчетливой спешке уничтожали зерно. Удивительное началось тогда, когда птицы насытились. Перестав клевать, они тяжело оторвались от земли и подпустили к корму вмиг угомонившихся драчунов. Сами при этом расселись кто где по кустам, ветвям и склону, лениво поглядывая время от времени на сменивших их у птичьего рая собратьев. Спустя какое-то время в воздухе что-то неуловимым образом изменилось. В нем словно вскрыли ножом потайную дыру, из которой душно повеяло холодом. Постепенно, одна за другой, сытые птицы стали срываться с мест и кидаться на тех, кто продолжал клевать зерно внизу. Лишь несколько секунд: камнем вниз, и тут же обратно. Скоро ущелье наполнилось гаем. У кого-то из нападавших в клюве застряли перья. Птицы бросались в атаку снова и снова, будто их чрезмерная сытость была опаснее и злее неутоленного голода. Потом ими окончательно овладело странное бешенство, и они принялись остервенело биться друг с другом. Противное то было зрелище.

Если человек и вспоминал о нем, то лишь для того, чтобы убедить себя не ходить в крепость...

III

Через три дня он в нее вошел. Поутру упрятал в кроне лиственницы ружье, подвесив его к ветвям в полуверсте от дороги, умылся в лесном ручье, почистил черкеску и бурку, сунул за пазуху огниво и украденный нож, вскинул руки в короткой молитве и двинулся к крепости.

Впервые за долгое время ему приходилось подставлять себя под людские взоры. С ним нынешним это произошло и вовсе в первый раз.

В пределах крепостной стены мир был теснее, чем в пещере. Петляя по кривым улочкам в поисках собственного смысла, беспокойный дух его сплошь и рядом натывался на пустоты и тупики. Человеку здесь не понравилось.

Для начала он обошел городок наобум, пытаясь нащупать своим обостренным чутьем след той причины, что его сюда привела. С некоторых пор он смирился с тем, что сам для себя является тайной. Будь по-другому, он посчитал бы это за странность: он был знаком с собой лишь с весны, – и срок-то не срок!

Он слонялся без дела чуть ли не день напролет, дивясь обилию стекла на главной улице и похожести встречаемых лиц. На одних застыло выражение обиды, как если бы кто-то посмел попросить у них в долг и даже не извинился. Другие не видели тебя в упор, словно глядели насквозь, в ту точку, где, подобно грозно урчащим псам во дворах, их неприступную серьезность сторожила сметливая злость. Третьи лица умели лгать, не произнося ни слова, и лишь старались угадать, какую выгоду и когда они из этого извлекут. Иногда попадались лица теплые и хорошие, но их было немного.

Он видел лавки и лотки, аллеи и цветы, такие яркие и замечательные, что казались подделкой, если б не исходящий от них аромат. Видел красивых толстых женщин в странных нарядах, не стеснявшихся выставлять напоказ свою белую кожу и садящихся в лоснящиеся атласом двуколки, чтобы умчаться на них подальше от скуки в своих глазах. Видел веселых зазывал перед бродячим цирком, о котором, признаться, не подозревал, что это цирк, и еще меньше понимал бы, что это слово значит. Он видел славных, неправдоподобно чистых детей, словно рожденных для радости, и еще нескольких, не похожих на самих себя и казавшихся взрослее иной везучей старости. Видел военных с золотом в погонах и начищенным до блеска дорогим оружием, а еще – печальных шарманщиков, пропахших дурным вином и каким-то заскорузлым отчаянием, равнодушных ко всему, кроме своей судьбы (ее они, похоже, ненавидели). Рядом с ними даже нищие казались счастливее. Он видел церковь и церквушки, но они его почти не трогали. Кто-кто, а он знал, что для Бога дом не построишь.

К вечеру человек вдруг понял, что страшно проголодался. Город был полон запахов и еды, но ничего не умел подарить безвозмездно, как горы. А потому приходилось соображать, что бы ему такое предложить взамен. Как назло, ничего путного в голову не приходило, кроме, разве, того, что надобно соблюдать осторожность: сытость опаснее голода.

Несколько раз он ловил на себе подозрительные взгляды прохожих, скользящие у него за спиной. Наверно, не могли понять, что им в нем не по нраву. Что-то чувствуют, но никак в толк не возьмут...

Спускались сумерки. На длинной широкой улице, вымощенной квадратами камней, у трактира томились мужчины с пьяными недобрыми глазами. Один из них уставился на него, озадаченно икнул и, прервав взмахом руки громкий спор остальных, указал на человека пальцем, сплюнул и отчетливо выругался.

Теперь все разрешалось как бы само собой. Надо было только дождаться, когда они распрощаются. Отследив обидчика, человек нагнал его у ворот двухэтажного дома с чистыми окнами, схватил за грудки и, прижав к стене, показал свой кинжал. Пьяница задрожал и заплакал. Потом принялся несвязно объяснять про то, что на прошлой неделе схоронил свою душу.

Человек молчал и давил ему лезвием под кадык. Потом, поддавшись на уговоры, вошел с ним в дом и попросил еды. Слуг в доме не было, однако стены его не пустовали, – это чувствовалось по дыханию темноты, что пряталась в соседней комнате.

Хозяин принес хлеба, поставил рядом блюдце с маслом и придвинул к нему полную тарелку чесночного холодца. Человек ел, пил тепловатую воду из графина и смотрел ему в глаза, а спина его внимательно слушала. Круглая тень от лампы с абажуром подсказала ему нужный миг, он обернулся и выбил ударом револьвер из чьих-то тонких пальцев. Почти наугад выставив кулак, сразил наповал кинувшегося на него с тыла хозяина и тут же снова оглянулся на женщину. Та стояла, описывая перед собой слепые круги беспомощными руками, и пыталась что-то сказать. Потом завывла в голос и рухнула на подставленный гостем стул.

– Зачем ты это сделал? Кто тебе позволял? Зачем ты спас его? – кричала она, и он не сразу понял, к кому она обращается. Хозяин по-прежнему лежал без движения и только хрипло дышал.

Человек взял графин, плеснул ему в лицо воды, потом приложился к горлышку сам и, осушив графин, вышел, не попрощавшись, на безлюдную темную улицу. Быть может, ему следовало забрать револьвер с собой, но возвращаться туда он не стал. Теперь город был ему почти что противен. Он словно дышал пороками.

Впрочем, что-то в крепости его завораживало. Возможно, бродившее повсюду здесь непредсказуемое движение. Или припрятанное на самом доньшке его страдание, укрытое сверху безразличием и сделавшееся ощутимей к ночи.

Где-то ниже по мостовой вздрагивал смех. Человек направился туда. День подходил к концу, а он так и не разобрался еще, зачем ему понадобилось сюда являться.

Смех раздавался из шатра, перед которым горланили наемные зазывалы. Сквозь темную ткань пробивалась желтизна тусклого света. Приблизившись к входу, человек увидел спину охранника в дверях, поглощенного тем, что происходит внутри. Обойдя шатер сзади, человек встал в тени купола, укрывшись от фонаря с аллеи, достал из-за пазухи нож и вспорол полотно шатра, проделав в нем отверстие размером не больше ладони. Потом убрал нож, просунул в отверстие руку, заглянул в него и замер.

Он стоял так довольно долго, позабыв о времени и себе. Он не ведал, что *такое* возможно. Тот, кто заметил бы его в эти минуты подглядывающим в проделанную дыру за цирковым представлением, вряд ли бы верно истолковал истинную причину такого его поведения. Увиденным человек был действительно поражен. Но поразил его совсем не цирк.

Когда все закончилось, он отпрянул от шатра – так резко, словно ему плеснули кипятком в глаза, и быстро зашагал прочь к окраине города. Выйдя за пределы крепости, он хотел было еще затемно отправиться обратно в горы, но передумал. Он был не на шутку встревожен. Оказавшись на каком-то заброшенном пустыре, разложил слабый костер, улегся рядом с играющими углями и вдруг широко улыбнулся. Полежав так с полчаса, он перебрался в пушистый нежный сон, такой естественный и уютный под усыпанным до краев звездной пылью небом.

Наутро он вернулся в крепость. Цирк уже успел собрать шатер и теперь грузился на закрытые холстиной повозки. Подойдя к самой опрятной из них, человек потребовал главного. К нему вышел мужчина лет сорока, нервного вида, с очень длинным лицом и тощими плечами, на одном из которых застряла подсолнечная шелуха. Вопреки ожиданиям, мужчина ему понравился. Человек сразу приступил к делу:

– Мне все известно, – сказал он. – Я знаю, в чем там обман. Их не одна, а две. Достаточно проделать ямку в полу под тем большим ящиком. Верно?

Мужчина поморщился и отвернулся. Видно было, что его трюк раскусили не в первый раз.

– В синей повозке спросишь Андрона. Скажешь, что от меня. Выбери себе вещь по вкусу из тряпья у него в сундуке...

Но человек не дал ему уйти. Тихонько тронув его за рукав, он сказал:

– Не торопись. Я не за тем.

Отведя его чуть в сторонку, подальше от чужих ушей, он стал негромко что-то объяснять. Лицо у мужчины вытянулось еще сильнее и сделалось серым, как надгробный столб. Без сомнения, рассказ на него произвел впечатление.

– Которая из них? – вдруг вскрикнул он, не сдержав порыва чувств, и человек ответил:

– Та, другая...

– Хорошо, – сказал тот и быстро-быстро заморгал. – Хорошо. Ладно. Сейчас...

Но никуда при этом не двинулся, словно мысленно уже успел слетать туда и обратно, да так и не оправился от изумления.

– Я буду ждать у самых ворот, – произнес человек и, развернувшись на пятках, зашагал к крепостной стене.

Когда к полудню обоз бродячего цирка миновал городские ворота, он пристроился за последней повозкой и шел за ней до тех пор, пока та не достигла развилки. Почти не сбавляя хода, повозка открыла свой холщовый полог. Из-под него навстречу человеку спрыгнула девушка. Он подождал, пока она приблизится, потом указал подбородком на запад и пояснил:

– Нам туда.

Она смотрела за тем, как он сворачивает с обочины и уходит вверх по пыльному склону в сторону гор. Девушка колебалась, идти за ним или броситься за обозом вдогонку. Потом пожалала плечами и пошла за человеком вслед. Никаких пожитков у нее с собой не было.

Незадолго до сумерек они добрались до буковой рощи, пред входом в которую человек развел костер и приказал его дожидаться, сам же отправился раздобыть чего-нибудь на ужин. Девушка оказалась не из робких. Мужчины не было с час, и за это время она набрала хвороста, нарвала тонких веток и ловко обустроила для них постель, обложив листьями землю в пяти шагах от костра. Вернувшись с парой фазанов в руках, он застал ее сидящей у огня плотно обхватив колени и напевающей что-то на неродном ему языке.

– Вот, принес. Почисти и осмоли, а я покамест изготовлю вертел, – распорядился он.

Девушка радостно взялась за работу. Человек все больше ей нравился. Ощипывая дичь, она думала о том, что охотник он, пожалуй, бывалый и опытный, а это уже немало. Да и он, человек, был доволен: чутье его не подвело.

Когда они отужинали и напились воды из его бурдюка, она спросила:

– Ну и где же твой дом?

Он пожал плечами и ответил:

– Еще не решил. Если хочешь, решим потом вместе.

Она окоченела взглядом, нехорошо изменилась в лице и, на минуту связав его душу молчанием, сказала:

– Ты меня обманул.

– Нет, – сказал человек. – Не тебя. Его. Тебя я еще не обманывал.

Она замотала головой и упрямо повторила:

– Ты обманул.

На сей раз он не стал возражать, а только пожал плечами и ответил:

– Больше такого не будет.

Пламя от костра полоснуло его по лицу своим светом и тут же поникло, взявшись лизать на земле красные угли. Я ему верю, подумала девушка.

– Я не верю тебе, – произнесла она вслух.

Человек засмеялся. Смех его ее, как ни странно, не оскорбил. Чтобы рассердиться, она запустила руку в золу и, набрав полную горсть, швырнула ему в лицо.

Все случилось само собой: сцепившиеся руки, притворная драка, борьба, жар от костра, прорвавшийся стон, ухнувшая сова, хвойный запах ночи, запах бурки, запах леса и паленых

перьев, тело, пахнущее землей, и сразу вдруг (как выстрел, гром, как перекушенная пополам нить жизни) – захватывающий дух надрыв неожиданной страсти...

Когда все было кончено и он лежал, запыхавшись, у нее на плече, настал ее черед смеяться. Выпростав из-под него свою руку и прикрыв ею грудь, она хохотала, глядя полными слез глазами в глупую ночь. Она ни о чем не жалела. Любиться с этим мужчиной было все равно что мчаться по отрогам горной реки, благополучно минуя крутизну поворотов.

– Знаешь, ты кто? Бесстыжий оборванный зверь, вот кто, – сказала она, насмеявшись.

– А ты похабная девка, – ответил он и крепко приник к впадинке у нее под ключицей. Она почувствовала, как вновь испускает дух, задрожала, выгнулась, охнула и притянула его к себе. Он коснулся ее лопаток и медленно поискал ладонью по позвоночнику. Девушка лежала, не двигаясь, боясь спугнуть, и слушала его руки. Они лепили из нее восторг. Она даже не стала им помогать, а лишь отдалась их воле и нежности, уплывая в невесомую глубину и ныряя в нее до тех пор, пока та не сотворила с ней чудо.

– Ты не зверь, – промолвила она заплетающимся языком. – Ты бог или дьявол.

– А ты – мой бес.

– Неправда... Я просто порочная девка... – уточнила она и провалилась в сон.

Человек глядел ее сну в лицо и размышлял о том, что красивее существа никогда не встречал и не встретит. Да ему оно и не нужно...

IV

– Как твое имя? – спросила она поутру.

К ее изумлению, он задумался и перестал ошкуривать ветку, выбранную под острогу. Потом повернулся к ней спиной и глухо ответил:

– Алан.

Через секунду, словно опомнившись, быстро обернулся, схватился взглядом с ее глазами и отчетливо повторил:

– Меня зовут Алан.

Она немного смутилась, кивнула и подняла с земли его рубашку.

– К реке я пойду с тобой.

Он не стал возражать. Рядом с нею он чувствовал себя сильнее, чем может быть человек. С нею рядом он в самом деле чувствовал себя и богом, и дьяволом.

Разувшись, он вошел в ледяной поток и двинулся к середине течения, а девушка присела на берегу и принялась полоскать его рубашку. Она не отрывала от него глаз. В этом месте река была узкой, а русло – совсем неопасным, так что девушка могла не волноваться. Лишь сейчас она обратила внимание на то, какие у него высокие плечи – подпирают облака.

Пока он бил рыбу острогой, нанизывая ее затем на подвязанный к шее прут, девушка скинула с себя одежду. Она по-прежнему не сводила с него глаз. Ее улыбка была светлой и настоящей, как сам этот день, как обоюдное их желание или как трепет пойманной рыбы, оставивший на его ладонях невидимый след. Посмотрев на нее, он ничуть не разозлился, и ей сделалось от того очень весело и хорошо. Она помахала ему рукой, и он довольно усмехнулся. Брызги жгли ее обнаженное тело, было больно, но здорово.

Потом он выбрался к ней на берег, и она, чтобы его подразнить, побежала к лесу. Только он за ней не последовал. Когда она это поняла, ей вдруг сделалось не по себе: вокруг не было ничего, кроме мрачных деревьев и падавших сыростью ей на ноги плотных теней. Она встала, огляделась по сторонам и неуверенно окликнула его по имени. Человек не отзывался. Тогда она закричала во весь голос и почти в тот же миг, ужаленная комочком земли, перешла на визг. Он вышел из-за ствола, большой и надежный, и она кинулась к нему, обняла, замолотила кулаками по спине, увидела свои слезы на его загорелой груди и стала трогать их языком, лихорадочно постигая его тело своими летающими руками. На нем уже тоже не было одежды, и она, роняя веки, почувствовала, как мир вырастает в их плоть, полнится мощной грозой и взрывается в ней восторженной яростью. Она подумала: мы словно хищники, вгрызающиеся жизни в глотку.

Любиться с ним было все равно что рвать себе вены и, рыдая от счастья, пить свою кровь...

Лишенная чешуи и нанизанная на прутья, форель едва дымилась и роняла в золу быстрые капельки жира, когда они поворачивали ее над углями и вдыхали в себя смешанный запах костра, реки и хвои, наслаждаясь умным безмолвием и ползущей по спинам прохладой.

– Мне кажется, – сказала девушка, – что я куда-то таю. Растворяюсь в каком-то дивном сне...

Мужчина улыбнулся:

– Тогда не вздумай просыпаться. И не оглядывайся назад.

Он привстал с корточек, расковырял носком сапога угли и сунул в образовавшийся горячий кармашек рыбу со своего прута.

– Пускай как следует пропечется.

– Мне кажется, – повторила девушка, – что я знаю тебя давным-давно и все же не знаю вовсе. Кажется, будто ты был всегда за моей спиной и знаешь все обо мне из того, что даже я сама позабыла. Будто ты мое эхо, а я...

Она запнулась, и мужчина не стал ее торопить. Раздув угли, он прилег в траву и наблюдал за девушкой сбоку, думая о том, что слова им совсем ни к чему. Они только в тягость, если чувствуешь радость, как голод, и понимаешь, что его нельзя утолить.

На щеке у девушки заблестела слеза. Маленький высохший лист, оторванный дымом от ветки, скупо свернулся в стеблях травы у нее под рукой. Сквозь верхушки деревьев мужчина увидел, как полное облако подбирается к самому солнцу и, позволив ему напоследок глотнуть из омута неба, накрывает его целиком.

– Мне кажется, будто я уже умерла и жива лишь моя душа, и ее носит ветром по счастью, которого не бывает... Мне слишком легко и свободно с тобой, и мне от этого страшно.

Она обернулась к нему и смотрела отчаянным взглядом в его спокойные, внимательные глаза. Прут в ее руках задрожал и поник, уронив добычу в костер. Мужчина поднялся, провел пальцами по ее плечам, коснулся ими ее лица, потом нагнулся и вытащил прут из золы. Уложив рыбу на листья папоротника, сходил к реке за свежей водой и поднес бурдюк к ее пересохшим губам. Пока длился обед, никто из них не обмолвился словом. Потом он сказал:

– Завтра мы двинемся дальше. А пока приготовим ночлег.

– Я ничего о тебе не знаю, – крикнула девушка вслед удалявшемуся мужчине. Когда он скрылся в чаще, в ответ она услышала:

– Я тоже...

По его голосу она поняла, что он не врет, и вдруг впервые и очень остро ощутила, что он в ней нуждается. Рыжий лесной муравей деловито скользил по ее предплечью, щекоча загорелую кожу, перебежал на тонкую расслабленную кисть, обогнул указательный палец и стремительно помчался по тыльной стороне руки обратно к локтевому изгибу, так и не поняв, что двинулся вспять. «Не оглядывайся назад», – вспомнила она слова мужчины и улыбнулась. Потом кивнула, сбила щелчком незадачливого бегуна, сладко потянулась, внезапно чуть всхлипнула, встала, отряхнула колени и, шмыгнув носом, прикрыла глаза и на миг погрузилась в истому. Перед нею плыл плещущий светом и громкой, всамделишной жизнью воздух, родом, казалось, из радости. Она вскочила на ноги и, подпрыгнув на месте, понеслась босиком по опушке туда, где звенела уютной тревогой пятнистая тень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.